This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 876,131

PROPERTY OF
University of Michigan Libraries
1817
ARTES SCIENTIA VERITAS

Nadson, Semen Iakovlevich.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ

(1883—1886)

С. Я. НАДСОНА.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

ОР. 8404 К 30282

ИЗДАНІЕ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ПОСОБІЯ НУЖДАЮЩИМСЯ ЛИТЕРАТОРАМЪ И УЧЕНЫМЪ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, № 39).
1887.

D.T. Front
36

891.79
N138li
1937a

зволено цензурою. Спб. 10 марта 1887 г

Въ настоящемъ изданіи собраны всѣ журнальныя статьи С. Я. Надсона, за весьма немногими исключеніями. Первые двѣнадцать критическихъ фельетоновъ, помѣщаемыхъ въ этой книгѣ, появились въ кіевской газетѣ «Заря», журнальнымъ обозрѣвателемъ которой С. Я. Надсонъ состоялъ съ мая по сентябрь 1886 г. Рецензіи о гг. Омулевскомъ, Случевскомъ и графѣ Голенищевѣ-Кутузовѣ были первоначально помѣщены въ библіографическомъ отдѣлѣ «Отечественныхъ Записокъ» за 1883 и 1884 г. Статья: «Поэты и критика» явилась на страницахъ «Еженедѣльнаго Обозрѣнія» въ январѣ 1884 г., а «Замѣтка по теоріи поэзіи» найдена въ посмертныхъ бумагахъ поэта и не появлялась еще нигдѣ. Статьи эти, заключая въ себѣ нѣкоторыя біографическія подробности, вмѣстѣ съ тѣмъ дополняютъ литературную физіономію такъ рано угаснаго поэта, выражая взгляды его на искусство и печать и требованія, которыя онъ предъявлялъ къ нимъ.

61-322236

ЖУРНАЛЬНЫЯ ОБОЗРѢНІЯ.

I.

(Мелочи.—Стихотворенія Аксакова).

Не знаю, право, какъ это случается, но стоитъ мнѣ на пять минутъ заглянуть за чѣмъ-нибудь въ книжный магазинъ, или даже только остановиться передъ его выставкой,—и я тотчасъ-же дѣлаюсь обладателемъ цѣлой массы книгъ, пріобрѣтать которыя никогда раньше мнѣ и въ голову не приходило. Такъ было со мной и въ послѣдній мой пріѣздъ въ Кіевъ: увидалъ за окномъ магазина только-что вышедшую брошюрку о Буддѣ, зашелъ ее купить,—и увезъ съ собой въ деревню огромный ворохъ печатной бумаги. На этотъ разъ попались все больше поэты: очень ужъ чисто и красиво стали они издаваться въ послѣднее время; я рѣшительно не нашелъ въ себѣ мужества отвѣтить отказомъ на вкрадчивую услужливость приказчика.

Въ деревнѣ, между тѣмъ, за мое недолгое отсутствіе произошли большія перемѣны. Въ первый разъ въ жизни доводится мнѣ встрѣчать весну въ томъ

благословенномъ краѣ, гдѣ «все обильемъ дышитъ, гдѣ рѣки льются чище серебра, гдѣ вѣтерокъ степной ковыль колышетъ, въ вишневыхъ рощахъ тонутъ хутора»,—и, надо сознаться,—болѣе красивой, задушевной, нарядной весны мнѣ не приходилось видѣть, хотя я странствовалъ немало. Какіе тѣнистые, уютные уголки образовались въ саду! Какъ мягко заткала узорная, молодая, благоухающая зелень недавніе просвѣты! И на тонахъ и полутонахъ этой зеленой гаммы, то здѣсь, то тамъ, какъ невѣста въ вѣнчальномъ нарядѣ, мелькаетъ, осыпанная кружевомъ цвѣта, струящая томительный ароматъ черемуха. До книгъ-ли кажется? Какая книга скажетъ столько, сколько говоритъ эта лазурь неба, эта даль полей, эта глушь сада?.... Но горожане неисправимы: вдоволь налюбовавшись окружающей меня красотой, я забралъ мое новопріобрѣтенное богатство на любимую скамейку, у пруда, обставленнаго тополями,— и вотъ снова острый, специфическій запахъ печатной бумаги защекоталъ мое обоняніе.

Скажу два слова о брошюркѣ Шюрэ. Вотъ ея полное заглавіе: *Сакія-Муни(;)древній мудрецъ (легенды о Буддѣ), соч. Шюрэ.* Не смотря на свой небольшой объемъ (43 страницы), брошюрка очень и очень стоитъ вниманія и явилась какъ нельзя болѣе кстати, въ виду интереса къ буддизму, овладѣвшаго въ послѣдніе годы нашимъ обществомъ.

Читателя, желающаго солидно ознакомиться съ

догматической и философской сторонами ученія Будды, мы отошлемъ къ другому, болѣе спеціальному и научному сочиненію по этому вопросу: «*Будда, его жизнь, ученіе и община, соч. Ольденберга*, 1884 года». Шюрэ имѣлъ въ виду другую цѣль: онъ собралъ въ одну полную и яркую картину подлинныя легенды о жизни Будды, главнымъ образомъ обративъ вниманіе на психологическую сторону вопроса,— на то, какимъ образомъ и подъ вліяніемъ какихъ обстоятельствъ сложилась у Сакія-Муни его философія. Небольшое вступленіе знакомитъ читателя съ литературой предмета и выясняетъ культурное значеніе Индіи въ исторіи человѣчества. Затѣмъ идетъ увлекательный, связный разсказъ, пересыпанный перлами народной поэзіи. Интересъ читателя не ослабѣваетъ ни на минуту до послѣдней страницы, и ему становятся понятными слова Гете, приводимыя въ предисловіи: «Хочешь-ли ты весеннихъ цвѣтовъ и плодовъ? Хочешь-ли ты опьяняющихъ благоуханій и питательныхъ яствъ? Хочешь-ли ты, однимъ словомъ, обнять небо и землю?—Я называю тебѣ Сакунталу, и я все этимъ сказалъ». Слова эти вполнѣ примѣнимы и къ тѣмъ легендамъ, на которыхъ построилъ Шюрэ свой разсказъ.

Совсѣмъ другою жизнью,—трезвой, реальной, будничной,—вѣетъ со страницъ недавно вышедшаго *Сборника стихотвореній И. С. Аксакова*. Небольшая, изящно отпечатанная, книжка эта разослана

была подписчикамъ «Руси» по смерти ея редактора. Такъ-называемый «средній читатель», слѣдящій за общественной жизнью по одной, много по двумъ газетамъ, врядъ-ли отдастъ себѣ ясный отчетъ въ томъ, какую роль сыгралъ покойный публицистъ въ исторіи русской культуры и политики. Недавняя смерть Аксакова и вызванный ею нестройный газетный гамъ не очень помогутъ ему оріентироваться,—слишкомъ много подняли они личнаго, мелкаго, спеціально газетнаго. Если въ обществѣ нашемъ находятся люди, смѣшивающіе направленіе «Руси» съ направленіемъ г. Каткова,—нѣтъ ничего удивительнаго, что найдутся и такіе, которые запишутъ Аксакова въ ряды такъ-называемыхъ «народниковъ». На самомъ дѣлѣ, славянофильство, не всегда ясно ставящее свои идеалы даже для своихъ сторонниковъ, точно маятникъ въ часовомъ механизмѣ, въ однихъ общественныхъ вопросахъ откачивалось направо, въ другихъ—налѣво. Рамки рецензіи не позволяютъ намъ дольше остановиться на этомъ вопросѣ, но, къ счастью, это и не является существенно необходимымъ для сужденія объ Аксаковѣ, какъ о поэтѣ: въ лучшей части сборника Аксаковъ является очень мало славянофиломъ,—а мы поставили себѣ задачей останавливать вниманіе читателя, главнымъ образомъ, на положительной сторонѣ разбираемыхъ произведеній.

Къ сожалѣнію, нужно сознаться, что количественно слабыя вещи перевѣшиваютъ дѣйствительно

удачныя пьесы. Мистерія «Жизнь чиновника» рѣшительно не выдерживаетъ критики. Юморъ вообще несроденъ таланту Аксакова, а основная мысль мистеріи, по нашему мнѣнію, не стоитъ поэтической формы. Она заключается въ томъ, что сухой, бумажный бюрократизмъ, не принося никому пользы, только напрасно губитъ лучшія силы духа тѣхъ, кѣмъ онъ завладѣваетъ. Мистерія написана тяжелымъ, грубымъ стихомъ и очень растянута. Впрочемъ, недостатки ея нѣсколько извинительны, такъ какъ Аксакову, когда онъ писалъ эту вещь, было только 19 лѣтъ. Неудачной вещью считаемъ мы и другую крупную пьесу сборника: «Зимняя дорога». Авторъ назвалъ ее licentia poetica,—вѣроятно, за оригинальную форму, которую онъ ей придалъ. Въ этомъ полуфантастическомъ и несвязномъ произведеніи онъ заставляетъ говорить старый домъ, тарантасъ, двухъ пріятелей, невидимые голоса, и пр. и пр., изъ чего образуется порядочный сумбуръ. Герой пьесы умудряется какъ-то вывести изъ всего этого обычную народно-славянофильскую тенденцію, но выводъ его для читателя является страннымъ и немотивированнымъ. Зато въ третьей крупной вещи сборника, въ поэмѣ «Бродяга», попадаются страницы, написанныя рукой истиннаго художника. Сюжетомъ поэмы служатъ незамысловатыя похожденія нѣкоего Алексѣя, бѣжавшаго изъ роднаго села. Лучшія строки поэмы — описательныя. Аксаковъ рисуетъ природу нѣсколько суховато, но прав-

диво, реально, жизненно. Отрывки изъ поэмы: «Всенощная въ деревнѣ», «Шоссе и проселокъ» и «Ночь» («Жаръ свалилъ, повѣяла прохлада») вошли во всѣ христоматіи. Есть, впрочемъ, и неудачныя мѣста, Вотъ, напр., описаніе наружности героя: «*Что онъ, каковъ? Лицемъ не очень смуглый, ростъ семь вершковъ и подбородокъ круглый; носъ невеликъ; особенныхъ примѣтъ не указалъ бы паспортный билетъ. Темноволосъ; лѣтъ 20; худъ немножко, Матвѣевъ сынъ и звать его Алешка*». Это именно «паспортный билетъ», а не художественное описаніе. Есть въ сборникѣ еще небольшой отдѣлъ—это стихотворенія, написанныя въ селѣ Варваринѣ, куда удалился Аксаковъ въ 78-мъ году, послѣ постигшей его административной кары. Настроеніе его въ этихъ пьесахъ является нѣсколько двойственнымъ. Съ одной стороны, онъ весь еще полонъ увлеченія и пыла недавней борьбы, съ другой—деревенская природа, дружба и покой мало-по-малу завладѣваютъ уже его душой. Въ этихъ стихотвореніяхъ тоже попадаются недурныя описанія природы. Вотъ одно изъ нихъ: «*Рѣки серебряный извивъ, блестящій въ муравѣ зеленой; по зыбкимъ скатамъ желтыхъ нивъ бродящей тѣни переливъ и рощей (?) сумракъ отдаленный... Виднѣютъ (?) села... Здѣсь и тамъ сверкаетъ крестъ, бѣлѣетъ храмъ. Куда ты взоръ ни обратишь, какая ширь!... Какая тишь!...*» Но и въ этомъ красивомъ отрывкѣ стихъ нельзя признать безупречнымъ.

Мы переходимъ теперь къ лучшей части сборника,—къ 39-ти лирическимъ стихотвореніямъ, написаннымъ Аксаковымъ въ періодъ отъ 45-го до 60-го годовъ, т. е. къ самымъ молодымъ его произведеніямъ, если не считать неуклюжей мистеріи. Всѣ сильныя стороны таланта Аксакова — горячность, искренность, стремительность—сконцентрированы въ этихъ небольшихъ пьесахъ, дышащихъ иногда чисто-пророческимъ паѳосомъ.

При чтеніи ихъ невольно вспоминаются выразительныя строки посланія Я. П. Полонскаго, написаннаго имъ когда-то Аксакову: «*Когда мнѣ въ сердце бьётъ, звеня какъ мечъ тяжелый, твой жесткій, безпощадный стихъ, съ невольнымъ трепетомъ я внемлю невеселой, холодной правдѣ словъ твоихъ. Не внемля шопоту соблазна, строгій геній ведетъ тебя инымъ путемъ туда, гдѣ нѣтъ уже ни жаркихъ увлеченій, ни примиренія со зломъ*» *). Да, это именно «тяжелый мечъ», поднятый сильною рукой борца. Преобладающимъ мотивомъ аксаковской лирики является призывъ къ труду, негодованіе на праздныя слова, не переходящія въ живое дѣло, горячій упрекъ тѣмъ, кто, не борясь, легко и малодушно мирится со зломъ и неправдой жизни. Это поэзія обличительная и карающая, напоминающая знаменитые ямбы Барбье. «*Зачѣмъ душа твоя смирна*», говоритъ Аксаковъ въ

*) Полн. собран. сочин. Я. П. Полонскаго, т. I, стр. 128, 1885 г.

одномъ изъ своихъ стихотвореній: *твой праздный день предъ Богомъ грѣшенъ! Ты возлюбилъ свое безділье и сна душевнаго недугъ!..»* Ты примиряешься съ неправдой, не разрѣшая возмутительныхъ противорѣчій, не разъясняя мглы вокругъ тебя.... «*Стряхни ярмо благоразумья! Люби ревниво, до безумья, всѣмъ пыломъ дерзостной души! Освободясь въ стремленьи новомъ отъ плѣна ложнаго стыда, позоръ, греми укорнымъ словомъ, подъемля насъ всевластнымъ зовомъ на тяжесть общаго труда!»* Въ другой пьесѣ поэтъ негодуетъ на тѣхъ, которые «*съ душой мечтательной и тѣломъ полновѣснымъ рѣчь умную, но праздную ведутъ*»,—неизвѣстно о чемъ тоскуютъ, неизвѣстно чего желаютъ,—«*о жизни мудрствуютъ, но жизнью не живутъ*». О, какъ мнѣ хочется, восклицаетъ онъ, взамѣнъ ихъ досужей скуки, дать имъ «*заступъ и соху, топоръ желѣзный въ руки, и, толпу прекратя объ участи людской, работниковъ изъ нихъ составить полкъ лихой...»* Жизнью, бодростью, силой дышетъ отъ этихъ правдивыхъ строкъ. Написанныя тридцать лѣтъ тому назадъ, они пришлись какъ нельзя болѣе кстати въ наше время, въ наши дни уныніія, безсилія, общаго страха и лѣни. «*Мы всѣ*», говоритъ поэтъ въ другой пьесѣ, «*не прочь за ужиномъ» въ роскошно убранной палатѣ, потосковать о младшемъ братѣ, погорячиться о добрѣ...»* Но... «что-жъ толку въ этомъ?—«Слова слова, одни слова!»

Мѣтко и глубоко схвативъ и прочувствовавъ недостатки своего поколѣнія, поэтъ горячо упрекаетъ его за то, что оно часто «*за комаромъ бѣжитъ съ топоромъ, за мухою гоняется съ обухомъ*», за то, что въ немъ «*умомъ ослаблены мечтанья, мечтаньемъ обезсиленъ умъ*»... Знайте, восклицаетъ онъ, что «*путь мертвый отрицанья живыхъ плодовъ не принесетъ*»!—и когда тронутые силой и правдой его рѣчи друзья выражаютъ ему свой восторгъ,—онъ отвѣчаетъ: я таковъ-же, какъ вы... Я подсмотрѣлъ *въ себѣ* тѣ пороки, за которые караю *васъ!* Не меня хвалите,—хвалите мою музу: «*Умнѣй и чище она и дѣлъ, и чувствъ моихъ!*»

Намъ показалось особенно характернымъ и удачнымъ посланіе Аксакова къ нѣкоей г-жѣ —ой. Женщины, вѣроятно, не часто получали такія посланія отъ поэтовъ. «*Вчера*», разсказываетъ Аксаковъ, «*восторженный и шумный, тревожной рѣчью порицалъ я вашъ отвѣтъ благоразумный и примиренье отвергалъ...*» Я, вѣроятно, былъ смѣшонъ въ вашихъ глазахъ... вы думали: «*съ годами остынетъ юношескій пылъ, и выгодъ власти и разврата, какъ всѣ мы, будетъ онъ искать...*» Нѣтъ! Вы ошиблись... Я молю Бога объ иномъ: «*не дай мнѣ опытомъ и лѣнью тревоги сердца заглушить... мой духъ усталый воскреси, пошли мнѣ силъ и помощь Божью, съ житейской мудростью и ложью отъ примиренія спаси!...*» А вы, продолжаетъ онъ, обращаясь къ лицу, которому посвящено стихотво-

реніе,—*«вы къ покою и прощенью пришли въ развитіи своемъ не сокрушенія путемъ, но равнодушіемъ и лѣнью...»* Живите-же счастливо, Богъ съ вами... я не приду больше моей мятежной рѣчью смущать вашъ покой... мнѣ не нужно вашего сочувствія...

На странныя мысли навело насъ это и другія стихотворенія Аксакова. Этихъ-ли глубокихъ, правдивыхъ, пылкихъ рѣчей долженъ былъ ожидать читатель отъ человѣка, цѣликомъ ушедшаго въ схоластику славянофильства? Какой свѣтлый ангелъ спасъ Аксакова? Этотъ свѣтлый ангелъ—сила таланта, сила непосредственнаго творчества, сила молодости, правдивой и неподкупной. Вглядитесь пристальнѣй въ это стихотвореніе,—и оно напомнитъ вамъ произведеніе человѣка, держащагося совсѣмъ другой стороны: мы говоримъ о Глѣбѣ Успенскомъ, объ одномъ изъ прекрасныхъ его разсказовъ: «Фельдшеръ Кузмичевъ». Разсказъ весь проникнутъ тѣмъ же негодованіемъ на пошлую житейскую мудрость, на примиреніе, на тупое и эгоистичное благоразуміе. Если-же мы припомнимъ еще два стиха изъ Некрасова: «Будь онъ проклятъ, растлѣвающій, пошлый опытъ, умъ глупцовъ»,—намъ станетъ ясно, куда влекъ Аксакова его талантъ, когда онъ давалъ ему говорить. Нельзя не вспомнить при этомъ фразу одного изъ редакторовъ нашихъ непрогрессивныхъ журналовъ: «нужно сознаться», сказалъ онъ, «что таланты не на нашей сторонѣ».

Музу свою Аксаковъ характеризуетъ въ слѣдующихъ строкахъ: «*Не прелесть празднаго мечтанья, не нѣга сладостныхъ молитвъ, но злой порывъ негодованья, жестокій судъ, призывы битвъ, отвага дерзко-молодая въ ней вдохновляли пѣсенъ строй... Изъ хора всѣхъ доступныхъ (?) музъ, я съ музой бодрой, строгой, гнѣвной, вступилъ въ воинственный союзъ*». Правда, иногда и на эту бодрую музу находило облако печали и вырывало у нея горькія строфы, но отъ этого поэтическая личность Аксакова дѣлается только еще понятнѣе, еще человѣчнѣе. Для примѣра укажу на стихотвореніе «Пусть сгибнетъ все». Въ немъ есть строфы, имѣющія не много равныхъ себѣ въ нашей литературѣ по глубинѣ и силѣ скорбнаго чувства. «*Слабѣйте силы, вы не нужны!... Засни ты, духъ, давно пора!.. Разсѣйтесь всѣ, кто были дружны во имя правды и добра!*» И потомъ дальше: «*Ликуй-же Ложь и насъ, безумцевъ, урокомъ горькимъ испытуй... Гони со свѣта вольнодумцевъ, казни, цари и торжествуй!*» Не лишнимъ считаемъ прибавить, что стихотвореніе это было написано въ 49-мъ году, когда жить и дышать было особенно трудно.

Переходя къ другимъ темамъ, которыхъ касается поэтъ, мы увидимъ, что въ натурѣ его уживались рядомъ и карающая безпощадность пророка, и порывы высоко-гуманнаго чувства. Какой силой, напр., дышетъ небольшое стихотвореніе, посвященное людямъ такъ называемаго «высшаго круга». Вотъ

его заключительныя строки: «*не стыдно вамъ пустыхъ занятій, богатствъ и прихотей своихъ, вамъ нипочемъ страданья братій и стоны праведные ихъ! Господь, Господь, вонми моленью, да прогремитъ бѣдами громъ земли гнилому поколѣнью и въ прахъ разсыплется Содомъ!*» Да, эти рѣчи далеки отъ идеаловъ гг. Маркевича, Авсѣенко, Орловскаго и всѣхъ, имена-же ихъ ты, Господи, вѣси!.. И рядомъ съ этимъ «желѣзнымъ» стихотвореніемъ мы находимъ другое, развивающее ту мысль, что людей безвозвратно испорченныхъ нѣтъ, что стóитъ только вглядѣться въ человѣка, «*и предъ очами предстанетъ каждая душа съ своими вѣчными правами...*» Повѣрь, говоритъ поэтъ, «*нетлѣнной красоты душа не губитъ безъ возврата...*» «*Бери-жъ! надежное огниво, ударь въ заржавленный кремень!...*»

Вотъ то общечеловѣческое, близкое и понятное каждому, чтò роднитъ съ Аксаковымъ людей, совершенно не раздѣляющихъ его общественныхъ и политическихъ взглядовъ. Талантъ его не изъ крупныхъ и не изъ широкихъ. Даже сама внѣшняя фактура стиха заимствована имъ у Хомякова. Но искренность, горячность, глубина убѣжденія придаютъ ему такія крылья, какими могутъ похвастаться немногіе изъ родныхъ поэтовъ.

Закончимъ нашу первую бесѣду горячимъ пожеланіемъ успѣха другому небольшому сборнику стиховъ—«*Сибирскіе мотивы*», составленному очень

недурно и изданному съ благотворительною цѣлью, въ пользу семьи покойнаго поэта Омулевскаго (Федорова). Пріобрѣсти эту книжку (и стоитъ-то она всего 20 коп.!) положительно обязательно для каждаго читающаго, чтобъ и на него не упалъ упрекъ, брошенный когда-то въ русскаго читателя знаменитымъ сатирикомъ: «Писатель пописываетъ, а читатель почитываетъ,—а чуть съ писателемъ бѣда стрясется,—читатель сейчасъ въ подворотню шмыгнетъ». Положительно стыдно будетъ русскому обществу, въ двѣ недѣли расхватавшему такое «произведеніе», какъ книга «о женщинахъ» «Вопросительнаго знака»,—если «Сибирскіе мотивы» въ скоромъ времени не потребуютъ втораго изданія!...

II.

(Романъ г-жи Шапиръ «Безъ любви».—Мелочи.—Сказаніе о гордомъ Аггеѣ, В. Гаршина).

Послѣдній романъ г-жи Шапиръ («Безъ любви») возбуждалъ оживленный интересъ и въ критикѣ, и въ обществѣ. Критика не разъ уже замѣчала, что, во-первыхъ, г-жа Шапиръ беретъ обыкновенно для своихъ произведеній темы *психологическія*, и, во-вторыхъ, что она — писательница *тенденціозная*. Послѣдній терминъ требуетъ небольшой оговорки.

Года два тому назадъ, г. Арсеньевъ помѣстилъ въ «Вѣстн. Евр.» разборъ стихотвореній А. Майкова, въ которомъ онъ упрекаетъ поэта за то, что онъ измѣнилъ закону непосредственнаго творчества и превратился въ писателя тенденціознаго. Въ февральской книжкѣ того-же журнала за текущій годъ. въ статьѣ «Романъ—орудіе регресса», тотъ-же критикъ заявляетъ, что тенденціозность, сама по себѣ, еще не недостатокъ. Выходитъ, что г. Арсеньевъ какъ будто противорѣчитъ самому себѣ. На самомъ дѣлѣ

обстоятельство это, по нашему мнѣнію, произошло оттого, что слову «тенденціозность» какъ-то не повезло въ нашемъ условно-критическомъ языкѣ: случается, что одинъ и тотъ-же критикъ употребляетъ его въ двухъ, совершенно различныхъ, значеніяхъ: иногда подъ нимъ подразумѣваютъ общее, стройное міросозерцаніе автора, проникающее однимъ духомъ всѣ его произведенія, иногда называютъ имъ какую-либо предвзятую мысль, вѣрную или невѣрную по существу, но подъ которую, какъ подъ прокрустово ложе, авторъ старается подогнать изображаемую имъ жизнь, отчего и произведеніе его является одностороннимъ и фальшивымъ. По моему мнѣнію, г-жа Шапиръ тенденціозна именно въ этомъ послѣднемъ смыслѣ.

Авторъ поставилъ себѣ цѣлью доказать, что безъ любви не можетъ существовать ни прочное семейное благополучіе, ни личное счастіе. Обративъ вниманіе на схему романа, на его внутреннее строеніе, мы найдемъ въ немъ двѣ центральныя фигуры, двухъ «героинь», какъ принято выражаться: это—мать и дочь Кубанскія. Связавъ для единства фабулы два эти лица родственными узами, авторъ, однако, рисуетъ намъ ихъ діаметрально противоположными по характеру. Точно также діаметрально противоположны и тѣ мотивы, по которымъ каждая изъ нихъ отказывается отъ любви. Этимъ пріемомъ г-жа Шапиръ, вѣроятно, имѣла въ виду доказать, что справедливость основной тенденціи романа не зави-

ситъ ни отъ лицъ, къ которымъ она прилагается, ни отъ обстоятельствъ ихъ жизни. Посмотримъ, насколько ей это удалось. Кубанская-мать, или Лиза, какъ называетъ ее г-жа Шапиръ въ первой части романа, отказывается отъ любви потому, что чувство это заговорило въ ней уже тогда, когда она была замужемъ и имѣла дочь. Правда, мужъ Кубанской—совершенный негодяй, котораго Лиза не уважаетъ ни на-волосъ, а дочь ихъ, Надя,—пока малютка, и жизнь ея для всѣхъ—закрытая книга. Но эти естественныя соображенія не приходятъ въ голову высоконравственной героинѣ г-жи Шапиръ. Въ Лизу влюбленъ нѣкто Балычевъ, употребляющій всѣ усилія склонить ее на рѣшительный шагъ, но Лиза согласна дать волю своему чувству только въ случаѣ развода, о которомъ ея мужъ и слышать не хочетъ. Балычевъ доведенъ до крайней степени отчаянія; онъ рѣшается, наконецъ, навсегда покинуть N—скъ и умоляетъ Лизу объ одномъ—пріѣхать проститься съ нимъ на вокзалъ (зачѣмъ?). Въ письмѣ, которымъ онъ извѣщаетъ ее о своемъ рѣшеніи, есть прозрачные намеки на то, что, въ случаѣ ея отказа, дѣло можетъ имѣть трагическую развязку (!). Какъ-же поступаетъ Лиза? Во имя семьи и долга, она преспокойно даетъ Балычеву застрѣлиться; мало того, она снова сходится съ мужемъ, этимъ убійцей любимаго ею человѣка, *не любя*, дѣлается его наложницей, его самкой, совершенно смиряется передъ нимъ нравственно и на протяженіи всего романа уже и

не вспоминаетъ своей погибшей любви! Вотъ при какихъ обстоятельствахъ и по какимъ мотивамъ отказалась Лиза отъ любви.

Надо признаться, давно не читали мы ничего болѣе возмутительнаго, чѣмъ эта первая часть романа г-жи Шапиръ. Разберемся, читатель. Лиза *знала*, что губитъ Балычева, что послѣдній стоитъ на краю бездны, и все-таки на вокзалъ не поѣхала. Какія-же вѣскія причины имѣла она, чтобы поступить такъ жестоко съ любимымъ человѣкомъ? Къ чему обязало-бы ея согласіе исполнить его просьбу? Ровно ни къ чему. Правда, она могла подать поводъ своимъ поступкомъ для праздныхъ пересудовъ и сплетень городскихъ кумушекъ, но, во-первыхъ, романъ ея и безъ того былъ извѣстенъ всѣмъ и каждому, и, во-вторыхъ, соображеніе это не могло имѣть никакой силы, разъ на картѣ стояла человѣческая жизнь, да и притомъ еще жизнь *любимаго* человѣка. Да и вообще, какіе были поводы у Лизы мучить и себя, и Балычева? Кому, какому Молоху принесла она свою кровавую человѣческую жертву? Мужу? Но вѣдь онъ не стоитъ мизинца Балычева. Надѣ? Но развѣ нельзя было пойти на компромиссъ, принять какія-нибудь мѣры, чтобы на дѣвочкѣ не отразился слишкомъ жестокорѣшительный шагъ матери. Находила-же Лиза возможность развода. Выходитъ, слѣдовательно, что поступки Лизы диктовались ей ея безхарактерностью. Что-же касается дальнѣйшаго поведенія Лизы, то мы просто отказываемся вѣрить

въ возможность его: увлеченная желаніемъ рельефнѣе провести свою тенденцію, г-жа Шапиръ оклеветала женщину, женское сердце: Лиза — самка, Лиза—наложница убійцы любимаго лица,—это что-то невѣроятное, уродливое, патологическое! И всего курьезнѣе, что г-жа Шапиръ видитъ въ своей героинѣ почти святую, что маньячество ея она возводитъ въ подвигъ самоотверженія! Къ сожалѣнію, такія страшныя понятія въ сферѣ нравственныхъ вопросовъ мы встрѣчаемъ у г-жи Шапиръ не въ первый разъ.

Но пойдемъ дальше. Итакъ, кровавая жертва домашнимъ пенатамъ принесена, и между Лизой и ея семьею не стоитъ больше ничего. Тутъ, собственно, и начинается глубокая драма, вѣрно и правдиво нарисованная, но фальшиво освѣщенная авторомъ. Старшая дочь Кубанской, Надя, выростаетъ вторымъ экземпляромъ отца: изъ нея выходитъ бездушное, эгоистическое существо, порожденіе близорукаго скептицизма, не признающаго ничего святого и высокого, и дешевой житейской мудрости, указывающей на проторенныя, безопасныя дороги; это типъ вполнѣ современный и многимъ знакомый. Надя также отказывается отъ любви, если можно назвать любовью ея легкое, капризное чувство къ Давиду Штарку, студенту, и, какъ водится, бѣдняку. Она предпочитаетъ выгодно продать себя въ жены пустому свѣтскому фату Ханайскому, что и дѣлаетъ, не смотря на отчаяніе матери. Не больше

отрады доставляютъ Лизѣ и другія дѣти: сынъ ея Саша, совершенно не удовлетворенный семейной обстановкой, бѣжитъ за-границу съ неудавшимся молодымъ ученымъ Зандеромъ, а младшая дочь, Женя, больная и хилая, умираетъ. Сама Кубанская сходитъ съ ума.

Итакъ, семейный храмъ, возведенный Лизою съ такими трудами и жертвами, распался. Авторъ хочетъ увѣрить насъ, что это произошло оттого, что между мужемъ и женой Кубанскими не было любви;—но мы позволимъ себѣ тщательнѣе провѣрить эти выводы. На Лизу обрушились три несчастія: первое—смерть Жени. Причемъ въ этомъ случайномъ фактѣ отношенія между Лизой и мужемъ? Второе—бѣгство Саши. Но сдѣлала-ли Лиза хоть что-нибудь, чтобы предотвратить его? Была-ли она другомъ своего сына, пробовала-ли руководить образованіемъ его характера? На эти вопросы мы должны отвѣтить отрицательно. За героиней г-жи Шапиръ вообще, кромѣ нытья и жалобъ, никакихъ поступковъ въ романѣ не числится; она обыкновенно начинаетъ креститься только тогда, когда громъ уже грянулъ и бѣды поправить нельзя. Ушедши вся въ свою исключительную привязанность къ больной Женѣ, она предоставила другимъ дѣтямъ рости и развиваться, какъ Богъ на душу положитъ, ограничившись въ своихъ заботахъ о Сашѣ только тѣмъ, что взяла для него репетитора, когда мальчикъ сталъ изъ рукъ вонъ лѣниться. Очевидно, что и въ

фактѣ его бѣгства нужно винить не ложныя отношенія между Кубанскими, а собственную бездѣятельность, безхарактерность и несостоятельность Лизы. Тѣ-же условія окружали и Надю,—но у нея не было добрыхъ задатковъ, спасшихъ ея брата, а мать не постаралась вложить какихъ-нибудь принциповъ въ хорошенькую головку своей дочери. Не двинула пальцемъ Лиза и тогда, когда Надя объявила ей о своемъ рѣшеніи выйти за Ханайскаго; она только плакала, да жаловалась, хотя и дѣлала это въ изобиліи. А въ это время бѣда постепенно назрѣвала, пока наконецъ не грянула надъ головой ея тяжелымъ, громовымъ ударомъ. Очевидно, что и здѣсь отсутствіе любви между Лизой и ея мужемъ ровно непричемъ.

Мы видимъ, такимъ образомъ, что по отношенію къ Лизѣ тенденція г-жи Шапиръ осталось недоказанной. Но, можетъ быть, авторъ болѣе послѣдовательно и убѣдительно провелъ ее въ исторіи замужества Нади? Мы должны отвѣтить отрицательно и на этотъ вопросъ; романъ, растянутый г-жею Шапиръ на 4 книжки журнала, все-таки остался идейно недоконченнымъ, такъ какъ о Надѣ онъ сообщаетъ очень немногое: мы узнаемъ только, что Ханайскій оказался не только негодяемъ, но и преступникомъ, такъ какъ женился на Надѣ при жизни своей первой жены. Великодушіе ея помогаетъ Надѣ скрыть это обстоятельство отъ людскаго правосудія; такимъ образомъ съ внѣшней стороны въ жизни ея ничего

не измѣняется. Но какое вліяніе имѣлъ этотъ фактъ на ея внутреннюю жизнь и на степень ея семейнаго счастія—объ этомъ мы ничего не знаемъ. Что-же касается самаго факта, то онъ опять-таки не говоритъ намъ, самъ по себѣ, ровно ничего, такъ какъ взятъ произвольно, а не вытекаетъ изъ отсутствія любви Нади къ ея мужу.

Таково внутреннее содержаніе романа г-жи Шапиръ, такова его идейная цѣнность. Переходя теперь къ типамъ, выведеннымъ въ романѣ, мы должны признать значительную правдивость художественнаго образа Нади, нарисованнаго ярко, выпукло и жизненно. Недурно удался также автору отецъ-Кубанскій; сцены между нимъ и Ханайскимъ дышатъ правдою. Къ удачнымъ типамъ относимъ мы также старика Зандера и его младшаго сына, еще на школьной скамейкѣ смотрящаго въ директоры департамента. Остальныя лица, въ особенности молодежь, очерчены блѣдно и плоско. Положительные типы вообще не удаются г-жѣ Шапиръ.

О языкѣ, которымъ написанъ романъ, мы говорить не будемъ. У насъ, какъ извѣстно, одинъ только писатель можетъ назваться виртуозомъ стиля—это Гончаровъ. Подаетъ надежды въ этомъ отношеніи г. Короленко, но онъ написалъ еще слишкомъ мало; говоря-же объ остальныхъ, какъ-то совѣстно и затрогивать этотъ вопросъ. Укажемъ только, что способъ изложенія г-жи Шапиръ отличается совершенно ненужной, наводящей тоску, болт-

ливостью: изъ цѣлой страницы едва десять строкъ ведутъ къ дѣлу, остальныя безъ ущерба могутъ быть совсѣмъ выброшены. За то въ романѣ разсыпано немало мелкихъ замѣтокъ, иногда мѣткихъ и глубокихъ, иногда, однако, и черезъ-чуръ рискованныхъ и смѣлыхъ. Вообще странная писательница г-жа Шапиръ: есть такія лица:—кажется, природа ихъ не обидѣла; всѣ контуры правильны, всѣ части соразмѣрны, а красивыми ихъ назвать нельзя. Есть какая-то черта, которая отдѣляетъ ихъ отъ красоты, что-то лежащее глубоко-глубоко во внутреннемъ складѣ человѣка; художникамъ хорошо знакомо это явленіе. Такова и литературная физіономія г-жи Шапиръ: недодѣланность, недодуманность и недостаточная сжатость, «*экстрактность*» ея художественнаго письма—вотъ обычные враги ея таланта, продѣлывающіе иногда надъ нею очень злыя шутки. А талантъ у нея есть, и талантъ симпатичный уже потому, что обращенъ онъ не на случайныя, эпизодическія явленія жизни, а на вопросы широкіе и типичные.

Въ апрѣльской книжкѣ «В. Е.» нашли мы очень интересную и цѣнную статью г. Арсеньева «*Валеріанъ Майковъ*». Сколько намъ извѣстно, это первое произведеніе г. Арсеньева, носящее историко-литературный характеръ. Симпатичная личность В. Майкова, въ самомъ началѣ своей дѣятельности отнятая смертью у русскаго общества и русскаго искусства, извѣстна немногимъ, а между тѣмъ она очень и

очень стоитъ вниманія. Въ Майковѣ не безъ основанія видятъ прямаго продолжателя критической миссіи Бѣлинскаго. Къ сожалѣнію онъ успѣлъ сдѣлать не много. Но и въ короткій срокъ своей дѣятельности Майковъ затронулъ нѣсколько такихъ важныхъ художественныхъ и соціальныхъ вопросовъ, которые и въ наши дни не потеряли еще своего остраго интереса. Мы настоятельно рекомендуемъ читателю эту статью. Далеко не со всѣми взглядами Майкова онъ согласится; со смерти даровитаго критика прошло почти 40 лѣтъ, въ которыя наше общественное сознаніе не могло не уйти впередъ; но многое изъ сказаннаго Майковымъ и теперь еще заставляетъ призадуматься. Въ началѣ статьи г. Арсеньевъ приводитъ отзывы и воспоминанія о Майковѣ его знаменитыхъ современниковъ, затѣмъ излагаетъ взгляды самого Майкова, и, наконецъ, дѣлаетъ имъ критическую оцѣнку. Статья эта тѣмъ болѣе интересна, что о Майковѣ имѣется въ нашей литературѣ очень немного свѣдѣній.

Путевые очерки г. Евгенія Маркова, озаглавленные «*Европейскій востокъ*», не оставляютъ прочнаго впечатлѣнія. Въ нихъ много красотъ, много лиризма, но мало содержанія: прочтешь—и въ глазахъ остается какой-то не то голубоватый, не то розоватый туманъ. Не очень, по правдѣ сказать, «наблюдательный» наблюдатель г. Ев. Марковъ,—да онъ, кажется, за этимъ и не гонится: было-бы кра-

сиво сказано, а о чемъ говорить — это ему все равно.

Изъ стихотвореній «В. Е—ы» обращаетъ на себя вниманіе небольшая пьеса г. Минскаго «*Другу*». Поэтъ дѣлаетъ въ ней очень вѣрную характеристику нашего времени. «Мы потеряли все»,—говоритъ онъ,—«безсмертіе и Бога, и цѣль, и разумъ бытія. Кумиры прошлаго развѣнчаны безъ страха, грядущее темно, какъ море предъ грозой, и родъ людей стоитъ межъ гробомъ, полнымъ праха, и колыбелію пустой». Нельзя не признать горькой правды этихъ образныхъ и поэтичныхъ строкъ.

Въ «Р. Мысли» тянутся до сихъ поръ два большіе романа: г. Эртеля «*На водахъ*» и Д. Сибиряка «*На улицѣ*». Отзывъ объ этихъ произведеніяхъ мы отлагаемъ до ихъ окончанія.

Послѣ долгой разлуки встрѣтили мы на страницахъ этого журнала давно жданное имя В. Гаршина. Молодой беллетристъ на этотъ разъ предлагаетъ намъ небольшую легенду: «*Сказаніе о гордомъ Агнѣ*», написанную, очевидно, подъ сильнымъ вліяніемъ народныхъ разсказовъ графа Л. Толстаго. При всемъ уваженіи нашемъ къ выдающемуся таланту В. Гаршина, отдавая полную справедливость художественности его разсказа, мы противъ помѣщенія такихъ произведеній на страницахъ нашихъ толстыхъ журналовъ: предназначенныя для совершенно иной аудиторіи, они только нарушаютъ цѣлость и стройность программы журнала. Вѣдь если признать законность

ихъ появленія въ «Р. М—и», отчего-бы не печатать тамъ и дѣтскіе разсказы «О благонравномъ Ѳедѣ», или клиническія лекціи, или, наконецъ, статьи по военнымъ наукамъ, садоводству, архитектурѣ, и пр. и пр.? Безспорно, каждому редактору пріятно и выгодно выставить на своей обложкѣ такое любимое имя, какъ имя В. Гаршина, но врядъ-ли эти мотивы могутъ быть признаны основательными. Мы дѣлаемъ исключеніе для графа Толстаго, имѣя въ виду, что разсказы его пропагандируютъ философскія идеи графа, такъ живо и такъ глубоко захватившія *именно интеллигентную* часть нашего общества; но г. Гаршинъ, сколько намъ извѣстно, не принадлежитъ къ числу послѣдователей философіи графа Толстаго и въ своемъ разсказѣ преслѣдуетъ чисто-нравственныя цѣли. Что-же касается самой легенды, она очень красива и выразительна по своему содержанію и разсказана точнымъ, чистымъ, образнымъ, и въ то-же время вполнѣ простымъ языкомъ. Вотъ въ двухъ словахъ ея фабула:

Въ нѣкоторой странѣ жилъ правитель, по имени Аггей. Богъ прогнѣвался на него за гордость и захотѣлъ наказать его. Однажды на охотѣ правитель погнался за оленемъ. Онъ опередилъ всю свою свиту и, то догоняя звѣря, то упуская его изъ виду, доскакалъ за нимъ до берега рѣки, въ которую тотъ кинулся. Аггей снялъ съ себя одежду, привязалъ къ береговымъ кустамъ своего коня и бросился за своей жертвой. Въ это время ангелъ одѣлся въ его

платье и принялъ видъ правителя, сѣлъ на его коня и вернулся во дворецъ. Аггей, между тѣмъ, потерялъ оленя изъ виду, но набрелъ на пастуха, которому и разсказалъ о своемъ приключеніи, требуя его помощи. Пастухъ не только не повѣрилъ Аггею, но даже побилъ его за самозванство; то-же случилось съ Аггеемъ, когда онъ вернулся домой. Случайно увидавъ того, кто занялъ его мѣсто, правитель узналъ въ немъ Ангела и рѣшилъ покориться Божьей волѣ. Прошло три года, во время которыхъ Аггей, странствуя по бѣлому свѣту, ухаживалъ за нищими и слѣпыми, надѣясь смиреніемъ искупить грѣхъ своей гордости. Ангелъ по прошествіи этого срока захотѣлъ вновь вернуть правителю его санъ, власть и богатство, но Аггей отказался: онъ понялъ отраду любви и милосердія. И много еще лѣтъ послѣ этого, никѣмъ не узнанный, трудился Аггей, а Ангелъ, оставивъ тѣло правителя, какъ будто-бы онъ умеръ, вернулся предъ лицо Господа.

Нѣтъ слова, идея разсказа очень гуманна и симпатична, но есть одно обстоятельство, на которое не мѣшало-бы обратить вниманіе лицамъ, пишущимъ для народа: не слишкомъ-ли злоупотребляютъ они въ своихъ разсказахъ элементомъ чудеснаго, не развиваютъ-ли они этимъ въ народѣ весьма нежелательный мистицизмъ и опасную безпечность? «Богъ, дескать, все видитъ, а я буду сидѣть сложа руки и ждать, пока онъ пошлетъ мнѣ съ неба свою манну». Вопросъ этотъ очень важенъ. На правильные выводы

и обобщенія у народа врядъ-ли хватитъ умственнаго развитія,—онъ все принимаетъ такимъ, какимъ оно ему преподносится. Не мѣшало-бы почаще напоминать ему пословицу: «на Бога надѣйся, а самъ не плошай».

Отмѣтимъ въ заключеніе помѣщенную въ «Р. М.» очень интересную статью *В. И. Семевскаго* объ отношеніяхъ славянофиловъ къ крестьянскому вопросу и весьма живо составленный критическій отчетъ о послѣднихъ художественныхъ выставкахъ, принадлежащій перу г. *Ковалевскаго*.

III.

(«Изъ дѣтства и школьныхъ лѣтъ», г-жи А. Л.).

...Какъ дымные очерки тучъ на аломъ разливѣ заката, плывутъ и плывутъ предо мной далекія тѣни былаго... Онѣ простираютъ ко мнѣ прозрачныя, блѣдныя руки; сплетаясь въ туманный узоръ, заслоняютъ открытую книгу, колеблютъ дыханьемъ своимъ огонь нагорѣвшихъ свѣчей, бѣлѣютъ на фонѣ окна, отвореннаго въ дремлющій садъ... И вспомнилъ я дѣтство мое,—мое одинокое дѣтство...

Я вижу себя худенькимъ десятилѣтнимъ мальчикомъ. Темно и тупо смотритъ въ высокія окна освѣщеннаго класа зимняя петербургская ночь. Мой сосѣдъ по скамейкѣ, Ивановъ,—одинъ изъ безчисленнаго множества Ивановыхъ, разсѣянныхъ по широкому лицу земли русской, положивъ свою круглую, коротко остриженную голову на столъ, хранитъ самымъ беззастѣнчивымъ образомъ, пользуясь тѣмъ, что виднѣющаяся на каѳедрѣ усатая и горбоносая фигура нашего воспитателя цѣликомъ ушла

въ развернутую передъ нимъ книгу. Я тоже, съ грѣхомъ пополамъ, покончилъ съ моими уроками и безсознательно засмотрѣлся на огонекъ одной изъ лампъ, освѣщающихъ нашъ классъ. Тоска грызетъ меня, — тяжелая, упорная тоска! Что-то теперь дѣлается дома?... Что̀ мать, сестра, няня?...

...Изъ душнаго класса стрѣлой летитъ моя дѣтская греза. Какъ птица, мелькнула она надъ снѣжной пустыней Невы, на мигъ затерялась въ толпѣ, снующей на улицахъ шумныхъ, и тихо скользнула, какъ тѣнь, въ знакомый родной уголокъ...

Передо мной небольшая, уютная комната, мирно освѣщенная вечерней лампой. Накрытъ столъ. Дымясь напѣваетъ свою пѣсню неугомонный самоваръ. Старушка-няня возится за чайнымъ приборомъ, а съ боку, у стола, утонувшая въ мягкихъ креслахъ, видится мнѣ фигура моей бѣдной, больной матери. Широкій платокъ, въ который она закуталась, все-таки не спасаетъ ея отъ обычнаго вечерняго пароксизма чахоточной лихорадки, страннымъ огнемъ озарившей ея большіе глаза, страдальчески смотрящіе съ худаго, блѣднаго, но все еще прекраснаго лица. За то какой жизнью, какимъ здоровьемъ дышитъ рядомъ съ ней смуглая, румяная, черноволосая головка моей сестры, заботливо наклоненная надъ полураздѣтой куклой!..

...О милыя тѣни, зачѣмъ не тамъ я, зачѣмъ я не съ вами!.. Мнѣ хочется ласкъ и любви, я здѣсь одинокъ и заброшенъ; никто надъ кроваткой моей

съ заботой не шепчетъ молитвы, никто моихъ темныхъ волосъ не касается нѣжной рукой!..

Отчего-же другія дѣти живутъ всегда дома? Отчего я долженъ сегодня пить чай не изъ моей любимой, разрисованной китайской чашечки, а изъ противной глиняной казенной кружки? Меня здѣсь не любятъ, надо мной смѣются! Я не виноватъ, что не могу скоро бѣгать въ «казаки-разбойники» и ловко поддавать мячъ въ лапту. Я не виноватъ, что я не такъ силенъ, какъ этотъ толстый, лѣнивый Ивановъ! И вотъ, нежданно-негаданно на глаза мои набѣгаютъ неудержимыя дѣтскія слезы...

— Что съ тобой? внезапно раздается съ каѳедры голосъ воспитателя, на минуту оторвавшагося отъ своей книги и замѣтившаго, что я что-то долго вожусь съ платкомъ: «Ты нездоровъ?»

— Нѣтъ... такъ!... едва сдерживаясь, отвѣчаю я: —Позвольте выйти напиться воды...

— Ну, ступай!

— Баба... у, баба! язвительно и злобно шепчетъ мнѣ вслѣдъ крѣпышъ Ивановъ, раздосадованный, что я помѣшалъ ему спать. Вотъ погоди, я тебѣ покажу послѣ чая!..

Но я его не слушаю. Я прохожу по корридору въ длинную, слабо освѣщенную рекреаціонную залу. О, какъ она знакома мнѣ со своими деревянными, жесткими, настоящими «казенными» скамьями, со столбами и веревками гимнастики, подымающимися въ ея дальнемъ темномъ концѣ, съ географическими

картинками по стѣнамъ и золотымъ огонькомъ лампадки передъ женственно-красивымъ образомъ архангела Гавріила, въ котораго годъ спустя я такъ пламенно влюбился!... Какъ она знакома и какъ ненавистна мнѣ!... Я прислоняюсь лбомъ къ стеклу одного изъ ея голыхъ, длинныхъ оконъ и, безсознательно наблюдая, какъ мигаютъ на улицѣ фонари, окруженные отъ мороза радужными ореолами, и какъ смутно бѣлѣютъ черезъ дорогу высокія липы парка, занесенныя инеемъ,—я плачу, плачу горько, безпомощно, истерически, пока рѣзкій сигналъ трубы не извѣщаетъ меня, что пора «строиться» къ чаю.

...Какъ живо ты вспомнилось мнѣ, мое одинокое дѣтство!..

. . . . . .

Печальное дѣтство мнѣ пало на долю:
Изъ прихоти взятый чужою семьей,
По темнымъ угламъ я наплакался вволю,
Извѣдавъ всю тяжесть подачки людской.
Меня окружало довольство, лишеній
Не зналъ я,—зато и любви я не зналъ,
И въ тихія ночи отрадныхъ моленій
Никто надъ кроваткой моей не шепталъ,
Я росъ одиноко; я росъ позабытымъ,
Пугливымъ ребенкомъ, угрюмый, больной,
Съ умомъ, не по-дѣтски печалью развитымъ,
И съ чуткой, болѣзненно-чуткой душой;
И стали слетать ко мнѣ свѣтлыя грезы
И стали мнѣ дивныя рѣчи шептать,
И дѣтскія слезы, безвинныя слезы
Съ рѣсницъ моихъ тихо крылами свѣвать!..

Ночь... въ комнатѣ душно... Сквозь шторы струится
Таинственный свѣтъ серебристой луны...
Я глубже стараюсь въ подушки зарыться—
А сны надо мной ужъ—завѣтные сны...
Чу!.. Шорохъ шаговъ и шумящаго платья...
Несмѣлые звуки слышнѣй и слышнѣй...
Вотъ нѣжное «здравствуй»—и чьи-то объятья
Кольцомъ обвилися вкругъ шеи моей...
Ты здѣсь, ты со мной, о моя дорогая,
О милая мама! Ты снова пришла...
Какіе-жъ дары изъ далекаго рая
Ты бѣдному сыну съ собой принесла?
Какъ въ прошлыя ночи, взяла-ль ты съ собою
Съ луговъ его—яркихъ, какъ день мотыльковъ,
Изъ рѣкъ его—рыбокъ съ цвѣтной чешуею,
Изъ темныхъ садовъ—ароматныхъ плодовъ?
Споешь ли ты райскія пѣсни мнѣ снова?
Разскажешь ли снова, какъ въ блескѣ лучей
И въ синихъ струяхъ фиміама святого
Тамъ носятся тѣни безгрѣшныхъ людей?
Какъ ангелы въ полночь на землю слетаютъ,
И бродятъ вокругъ поселеній людскихъ,
И чистыя слезы молитвъ собираютъ
И нижутъ жемчужныя нити изъ нихъ?...
Сегодня, родная, я стою награды,
Сегодня... о, какъ ненавижу я ихъ,—
Опять они сердце мое безъ пощады
Измучали злобой упрековъ своихъ...
Скорѣй-же, скорѣй!...—И подъ тихія ласки,
Обвѣянъ блаженствомъ нахлынувшихъ грезъ,
Я сладко смыкалъ утомленные глазки,
Прильнувши къ подушкѣ, намокшей отъ слезъ!...
. . . . . .

Да проститъ мнѣ читатель это небольшое лирическое отступленіе; оно не такъ чуждо темѣ нашей сегодняшней бесѣды, какъ это можетъ показаться

съ перваго раза: всѣ эти полугрезы, полувоспоминанія навѣялъ на меня только-что оконченный въ «Сѣв. Вѣстникѣ» разсказъ г-жи А. Л., озаглавленный «Изъ дѣтства и школьныхъ лѣтъ». Хорошую, теплую вещь удалось написать г-жѣ А. Л.! Помоему, ея «воспоминанія», по своей правдѣ и искренности—одно изъ самыхъ выдающихся беллетристическихъ произведеній текущаго литературнаго года, не выключая отсюда и разсказовъ графа Л. Толстаго. Ни тема «воспоминаній» г-жи А. Л., ни отдѣльные эпизоды ихъ не отличаются особенной новизной и оригинальностью положеній; тѣмъ лучше: «устарѣло все, что ново», какъ сказалъ великій поэтъ,—а все оригинальное, по выраженію другого писателя, часто бываетъ весьма трудно отличить отъ моднаго; кромѣ того, оригинальное заслоняетъ отъ насъ простое и обыкновенное, требующее нашего изученія и нашей помощи. Въ обоихъ этихъ парадоксахъ есть своя доля правды.

Исторія дѣтства «Панночки *) Медвѣдевой», просто и безъ претензій разсказанная г-жею А. Л., — исторія самая обыденная, встрѣчающаяся въ жизни на каждомъ шагу. Бѣдная дѣвочка имѣла несчастье рано лишиться своихъ родителей и попасть въ бархатные руки непрошенныхъ благодѣтелей, изъ этого факта, какъ изъ причины, логически вытекаютъ всѣ дальнѣйшія ея злоключенія. Кому не извѣстно, что такое

*) Уменьшительное отъ «Прасковья».

подобные «благодѣтели»? Осчастливливая кого-нибудь своей щедростью, они, главнымъ образомъ, заботятся о томъ, чтобы, во-первыхъ,—разславить по всему свѣту о нѣжности своего сердца, и, во-вторыхъ—сдѣлать это какъ можно дешевле для своего кармана. Преслѣдуя эти двѣ цѣли, они прежде всего стараются спихнуть свою жертву куда-нибудь въ закрытое заведеніе, на казенный счетъ и о дальнѣйшей участи ея не считаютъ нужнымъ заботиться. Такъ поступили они и съ Панночкой Медвѣдевой. Воспоминанія ея логически дѣлятся на двѣ части: на жизнь ея въ семьѣ богатаго дяди генерала и на жизнь въ институтѣ. Въ домъ дяди Панночка попала прямо изъ деревни, въ которой бросилъ ее отецъ, задумавшій уйти въ монахи. Неласково встрѣтила бѣднаго ребенка сановная семья дяди: съ эгоизмомъ и сухостью, свойственными всѣмъ такимъ семьямъ, тетка Панночки прежде всего заподозрила въ маленькой дѣвочкѣ, стоящей передъ ней, всевозможные недостатки и пороки и постаралась нравственно отдѣлить ее отъ своихъ дѣтей. Тысячи незаслуженныхъ униженій посыпались на голову дѣвочки.

— Дѣти, вотъ ваша кузина Медвѣдева; она сирота и *бѣдная* и будетъ жить пока съ вами. Такъ отрекомендовала тетка своимъ дѣтямъ маленькую Панночку.

Какъ вы думаете, для чего она сочла нужнымъ упомянуть дѣтямъ о бѣдности дѣвочки? Разумѣется,

для того, чтобы они были вдвое деликатнѣе съ нею: бѣдность щепетильна, бѣдность обидчива! Вы ошибаетесь; въ словахъ «генеральши» сквозило нѣчто другое; они были простой перефразировкой извѣстныхъ словъ Фамусова: «кто бѣденъ, тотъ тебѣ не пара». Медвѣдева сразу отводила въ своемъ домѣ мѣсто для племянницы между членами семьи и прислугой. Вотъ какая сценка разыгралась въ дѣтской, когда тетка удалилась:—«Какъ васъ зовутъ?»—спросила старшая дѣвочка.—«Панночка,»—отвѣчала я.—«Панночка! Какое смѣшное имя!... Это что-же значитъ: Панночка?»—Прасковья,—сказала я.—«Ой, ай!»завопили всѣ четверо сразу, заливаясь смѣхомъ, а младшая дѣвочка прибавила:—*Прасковья—такъ только горничныхъ зовутъ; ну, да вы бѣдная!* Это вѣрно оттого васъ такъ и зовутъ, какъ у мужиковъ. Мужики тоже бѣдные...»—«Значитъ, у васъ нѣтъ своей деревни?» спросилъ другой мальчикъ.—«Конечно у нея нѣтъ... Развѣ деревни у бѣдныхъ бываютъ?»

Вотъ какіе выводы и сближенія сдѣлали дѣти изъ словъ Медвѣдевой. Дальше пошло еще хуже: на слѣдующее утро, когда дѣвочка проснулась и хотѣла одѣваться, ее прежде всего повели въ ванну.

«Ничего, ничего, сударыня, надо мыться,»—приговаривала нянька:—«Упаси Господи, чего изъ деревни привезть могли-съ. *Недолго—и на нашихъ дѣтей перейдетъ. А вѣдь наши дѣти—генеральскія, не какія-нибудь безпомѣстныя!*» По окончаніи процедуры мытья, няня принялась старательно вычесывать

голову дѣвочки, пристально разсматривая гребень на свѣтъ. Тутъ мы опять предоставляемъ слово автору.

«Да чего вы ищите, няня? спросила я, наконецъ, заинтригованная всѣмъ этимъ.—Чего? Временнообязанныхъ, барышня!..—Она засмѣялась.— *Нѣту ихъ у васъ въ деревнѣ* (опять намекъ!), думала, не найдутся-ли хоть въ головкѣ-съ... Ну, нѣтъ-съ и тутъ...— Чего? приставала я.—Чего да чего? Вшей!—нетерпѣливо огрызнулась она, раздраженная моими разспросами.

Подобныя сцены повторялись на каждомъ шагу. И вотъ, началась для дѣвочки тяжелая и нерадостная жизнь: холодная враждебность тетки, недовольной вторженіемъ въ семью посторонняго элемента, обиды и оскорбленія прислуги, которой прибавилось дѣла и заботъ, насмѣшки избалованныхъ дѣтей, и слезы,— одинокія, безпомощныя, беззащитныя дѣтскія слезы! Такъ дѣло тянулось до поступленія Панночки въ институтъ. Пребыванію ея въ стѣнахъ заведенія посвящены двѣ остальныя части воспоминаній.

Я всегда съ живѣйшимъ интересомъ слѣжу въ журналистикѣ за всякими беллетристическими разоблаченіями институтской жизни. По моему мнѣнію, основанному въ значительной степени на моемъ личномъ знакомствѣ съ институтскимъ бытомъ, заведенія эти—своего рода бурса, ждущая новаго Помяловскаго, чтобы изъ-за китайской стѣны, ревниво оберегающей ихъ отъ любопытныхъ взглядовъ, вы-

плыли на свѣтъ Божій многія крайне интересныя подробности ихъ организаціи и жизни. Снисходительность, незлобивость и кротость являются основными чертами воспоминаній г-жи А. Л. Она слишкомъ далека отъ всякихъ обличительныхъ намѣреній и сосредоточиваетъ свое главное вниманіе на личной исторіи своей маленькой героини и ея подругъ. Но и тѣ немногіе факты, которые мимоходомъ приводитъ она, въ высшей степени выразительны и краснорѣчивы. Вотъ напр. какъ характеризуетъ г-жа А. Л. тотъ педагогическій символъ вѣры, который исповѣдовала начальница N-скаго института (чтобъ успокоить читателя, напоминаемъ ему, что воспоминанія г-жи А. Л. относятся *къ прошлому*):

«Что касается воспитательной ея дѣятельности», говоритъ г-жа А. Л., «то она сводилась къ поученіямъ на слѣдующую тему: хорошо воспитаннымъ дѣвушкамъ нужно: прежде всего имѣть хорошія манеры и говорить безъ акцента по-французски; это условіе sine qua non ихъ будущаго счастья; это талисманъ, который достаточнымъ образомъ обезпечитъ не только успѣхъ въ обществѣ, но и добудетъ богатымъ—комильфотнаго жениха, а бѣднымъ дастъ возможность попасть на хорошо оплачиваемыя казенныя мѣста учительницъ и воспитательницъ (!). Затѣмъ, для дѣвицы нужна хорошая нравственность; что подразумѣвалось подъ этою нравственностью, довольно трудно опредѣлить сразу. Первымъ артикуломъ было не грубить начальству и слушаться

всякаго приказанія безпрекословно; потомъ: не завивать волосъ, не носить на шеѣ бархатокъ и ленточекъ; въ закрашенныхъ окнахъ не выцарапывать ясныхъ мѣстечекъ, чтобы выглядывать на улицу, не читать книгъ, приносимыхъ посторонними заведенію лицами; въ нѣмецкое дежурство говорить по нѣмецки, а во французское—по-французски и, по возможности не произносить ни одного русскаго слова, иначе, какъ во время русскихъ уроковъ или необходимыхъ сношеній съ прислугою; знать свои уроки добропорядочно, *однако не слишкомъ блестящимъ образомъ*, потому что... ну, потому что «знать что либо очень хорошо»—для молодой, благовоспитанной дѣвицы какъ будто даже неприлично (!!)... Молодая, хорошо воспитанная дѣвица должна колебаться, сомнѣваться въ непреложности своихъ взглядовъ, и за разъясненіемъ обращаться къ старшимъ...»

Мы ничего не прибавимъ отъ себя къ этой выпискѣ: всякіе комментаріи будутъ слабы въ сравненіи съ перлами этого «Credo». Скажемъ только, что въ немъ особенно характерно выразилась основная черта институтскаго воспитанія — ложь во всѣхъ ея видахъ и проявленіяхъ, начиная съ титула «maman», съ которымъ обязательно обращаться къ начальницѣ, и кончая этимъ притворнымъ незнаніемъ и нерѣшительностью, предписываемымъ институткамъ вѣроятно въ видахъ сохраненія въ нихъ «женственности», о которой столько толкуютъ

въ послѣднее время различные развратники, прикрывающіеся маской моралистовъ.

Тяжело и скучно было на первыхъ порахъ бѣдной «Панночкѣ». Положимъ, она успѣла уже отвыкнуть за время своего пребыванія у Медвѣдевыхъ отъ семейныхъ ласкъ и заботъ, но все-таки формализмъ заведенія, его мертвыя, сухія, казенныя стороны, не могли не душить ея. Вѣроятно, не разъ испытывала она тѣ ощущенія, о которыхъ я попытался дать понятіе читателю въ началѣ моей бесѣды, припомнивъ изъ собственнаго опыта мое душевное состояніе и вмѣстѣ съ тѣмъ душевное состояніе многихъ дѣтей, оторванныхъ отъ теплаго огонька ихъ семейныхъ очаговъ. Но не можетъ же быть, однако, чтобъ въ томъ темномъ царствѣ, въ которое вводитъ читателя вслѣдъ за своей героиней г-жа А. Л., не проносилось ни одной свѣжей струи, не было ни одного отраднаго явленія? Конечно, не можетъ быть; такихъ безусловно гнилыхъ угловъ не существуетъ въ жизни; свѣтило свое «красное солнышко» и N—скому институту: къ несчастью, оно закатилось слишкомъ скоро. Этимъ «краснымъ солнышкомъ» былъ учитель словесности Антонъ Алексѣевичъ Алексѣевъ.

Кстати объ учителяхъ словесности вообще: мнѣ пришлось по поводу ихъ имѣть очень интересный, живой разговоръ. Рѣчь шла о современной молодежи, объ исчезновеніи въ ея средѣ духовныхъ интересовъ и горячей любви къ наукѣ.

— Вы, конечно, помните,—говорилъ мнѣ собесѣд-

никъ, одинъ глубоко-симпатичный русскій типъ, хорошо знакомый всѣмъ намъ и по книгамъ, и изъ личныхъ нашихъ воспоминаній: я говорю объ учителѣ словесности, объ этомъ чудакѣ, съ вѣчно растрепанными волосами, съ горящими глазами, съ вдохновеннымъ лицомъ поэта, странно выглядывающимъ изъ чиновьичьяго мундира, и съ пламенными рѣчами на устахъ о правдѣ, о добрѣ, о вѣчномъ и прекрасномъ. Помните-ли вы его размашистые жесты, когда онъ, весь холодѣя отъ священнаго восторга, читалъ намъ въ классѣ съ бурсацкимъ акцентомъ одну изъ безсмертныхъ повѣстей Гоголя, или одну изъ льющихся, какъ музыка, огненныхъ статей Бѣлинскаго! Какимъ чистымъ пламенемъ зажигалъ онъ наши сердца, какія безконечныя, свѣтлыя дали раздвигались и раскидывались передъ нами, какъ неуклонно и твердо вѣрилось намъ тогда во все прекрасное! Куда онъ дѣлся въ наше время? Онъ пропалъ, исчезъ... Его замѣнилъ аккуратно-выбритый, педантичный чиновникъ со славянской грамматикой Перевлѣсскаго въ рукахъ. А между тѣмъ, роль его была въ высшей степени важна и почтенна: онъ будилъ и направлялъ нашу мысль, одухотворялъ идеаломъ нашу жизнь...

Знакомый мой въ самомъ дѣлѣ правъ... Куда вы подѣвались, честные труженики, лучшіе друзья юношества?.. Какое ненастье распугало васъ?.. Отзовитесь!..

Антонъ Алексѣевичъ въ воспоминаніяхъ г-жи

А. Л. является однимъ изъ такихъ живыхъ типовъ. Онъ употреблялъ всѣ усилія, чтобы заронить хоть одну свѣтлую мысль въ усердно-ограждаемыя головки своихъ ученицъ, но и ему стало, наконецъ, не подъ силу бороться съ китайщиной, царствовавшей въ заведеніи: послѣ одного изъ обысковъ, дѣлавшихся иногда въ институтѣ, начальство нашло у дѣвицъ нѣсколько книгъ, принадлежавшихъ Алексѣеву, которыя и были отнесены ему обратно со строгимъ выговоромъ. Чаша терпѣнія его переполнилась, и онъ подалъ въ отставку.

Вотъ въ какой средѣ росла и воспитывалась маленькая Панночка Медвѣдева. Слава Богу,—она не была обижена ни умомъ, ни сердцемъ и съумѣла вырваться на волю, не тронутая тлетворнымъ дыханіемъ институтской лжи, не изуродованная нелѣпыми порядками своей школьной жизни. Не всѣ ея подруги могутъ похвастаться тѣмъ-же. Г-жа А. Л. разсказываетъ намъ объ участи двухъ изъ нихъ, изъ которыхъ одна почти буквально задохлась отъ уродливыхъ условій, окружавшихъ ее въ семьѣ и школѣ, а другая вступила на скользкій путь кокотки. Фигура первой изъ нихъ, маленькой Шурочки, нарисована г-жею А. Л. съ рѣдкой теплотой и типичностью, и участь бѣдной дѣвочки глубоко трогаетъ читателя. Очень удались также г-жѣ А. Л. характеристики семьи Медвѣдевыхъ и нѣкоторыхъ изъ классныхъ дамъ,—зато личность Машеньки Орловой, другой подруги Панночки, вышла блѣдной, ходуль-

ной и слишкомъ идеализированной. Написана повѣсть въ высшей степени простымъ и задушевнымъ тономъ и читается съ неослабѣвающимъ интересомъ. Побольше бы такихъ жизненныхъ произведеній въ нашихъ журналахъ!

Два слова о поэзіи: упорно надѣясь рано или поздно заинтересовать читателя русской поэзіей, обыкновенно игнорируемой нашей критикой, я обращаю его вниманіе на молодаго поэта г. Фофанова, обладающаго, по-моему, большимъ дарованіемъ чисто-художественнаго оттѣнка. Къ сожалѣнію, г. Фофановъ преимущественно печатался въ маленькихъ журналахъ и поэтому извѣстенъ немногимъ. Чтобы не показаться бездоказательнымъ, привожу изъ «Всемірной Иллюстраціи» одно изъ его стихотвореній.

«Когда, удалившись отъ золъ суеты, отъ благъ и житейскихъ страданій, ты внидешь, исполнена тайной мечты, въ обитель святыхъ покаяній,—быть можетъ, тебя навѣстить я приду усталой, признательной тѣнью, весною, когда въ монастырскомъ саду, запахнетъ душистой сиренью».

«Войду я безмолвенъ, войду я унылъ, въ обитель молитвы и мира, услышу бряцанье пахучихъ кадилъ и пѣнье согласное клира. Тебя я узнаю межъ юныхъ черницъ, твой взоръ будетъ кротокъ и нѣженъ; ты будешь безмолвна, какъ сумракъ темницъ, я буду, какъ буря, мятеженъ».

«Но ты не узнаешь, родная, меня; пройдешь ты потупившись мимо, блѣдна, какъ мерцанье осенняго дня, прекрасна, какъ тѣнь серафима. Не дрогнутъ рѣсницы, не вспыхнетъ щека,—пройдешь и исчезнешь безъ шума... Ты будешь отъ думы земной далека, я весь буду трепетъ и дума!»

Стихотвореніе это не безъ недостатковъ, но романсъ изъ него вышелъ бы прелестный, пѣвучій, граціозный...

IV.

(Рыночный журналъ.—Книжки «Недѣли»).

Спросите у любого провинціальнаго читателя или, еще лучше, у читательницы «не изъ бойкихъ», кого она считаетъ первымъ русскимъ современнымъ романистомъ?—и она безъ запинки отвѣтитъ: Всеволода Соловьева. Попробуйте послѣ этого назвать ей имена Глѣба Успенскаго, Гаршина,—она сдѣлаетъ удивленные глаза и скажетъ вамъ, что изъ нихъ никого не читала,—нѣтъ, впрочемъ, попыталась разъ прочесть что-то такое Успенскаго, но тамъ о мужикахъ говорится, ей показалось скучно, и она бросила. Откуда происходитъ это нелѣпѣйшее изъ нелѣпыхъ явленій нашей жизни?

Русская литература, какъ извѣстно, небогата направленіями и оттѣнками. Съ одной стороны, бѣдность эта далеко неутѣшительна, такъ какъ доказываетъ, что наша общественная жизнь находится еще въ младенческомъ состояніи, съ другой—меньше направленій, меньше и розни, меньше полемики,

часто мелкой и личной, больше силы и вліянія. Въ послѣднее время къ существовавшимъ литературнымъ теченіямъ присоединилось еще одно, новое и небывалое, которое всего справедливѣе окрестить эпитетомъ «рыночнаго». Не смотря на свою сравнительную молодость, это рыночное «направленіе» начинаетъ все болѣе и болѣе охватывать періодическую литературу, проскальзывая даже въ такіе органы, которые прежде были безупречны въ этомъ отношеніи. Каждый органъ при своемъ возникновеніи обыкновенно торжественно заявляетъ, что онъ поставилъ себѣ цѣлью пополнить тотъ или другой подмѣченный имъ въ литературѣ «пробѣлъ»; органы рыночные подразумѣваютъ при этомъ случаѣ исключительно «пробѣлы» въ карманахъ своихъ редакторовъ-издателей. Поставивъ себѣ такую высокую задачу, они неизбѣжно должны выдвинуть на первый планъ не какіе-либо политическіе и нравственные интересы, а *публику* въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, въ смыслѣ читающей массы, часто полуграмотной, неразвитой и чуждой всякихъ убѣжденій. Само собою разумѣется, что при такой постановкѣ вопроса не можетъ быть и рѣчи о томъ, *чтобы поднять эту публику до себя*, стараться расширить кругъ ея знаній, воспитывать ея художественный вкусъ, пробуждать въ ней общественные инстинкты. Гораздо легче, проще и выгоднѣе *спуститься до нея*, угощать ее пошленькими или грязноватыми издѣльицами ловкихъ мастеровъ литературнаго цеха, льстить ея

темнымъ и низменнымъ инстинктамъ и въ награду собирать золотую жатву богатой подписки. «*Публика*» любитъ, чтобы чтеніе ей обходилось подешевле и чтобы его было побольше,—прекрасно! И вотъ на бѣлый свѣтъ начинаютъ появляться разные «Радуги», «Эпохи», «Нови», «Лучи», «Колосья» и т. д., въ аршинныхъ рекламахъ объявляющіе, что они за ломанный грошъ доставятъ читателю цѣлые пуды печатной бумаги и чуть не эдемскія наслажденія. «*Публика*» любитъ легкое зубоскательство, и на почвѣ его развертывается роскошнымъ цвѣткомъ несравненный талантъ г-на Лейкина. «*Публика*» любитъ историческіе романы, въ которыхъ исторія трактовалась-бы въ томъ смыслѣ, въ какомъ нѣкогда трактовали ее Митрофанушка и его скотница,—и вотъ появляется на сцену г-нъ Вс. Соловьевъ и предлагаетъ публикѣ въ многотомномъ повѣствованіи о нѣкоемъ Сергѣѣ Горбатовѣ описаніе всѣхъ трусовъ, гладовъ, нашествій иноплеменниковъ и иныхъ ужасовъ, какіе только выпадали на долю нашей отчизны. «*Публика*» не прочь отъ сплетенъ и грязи—и на свѣтъ Божій выдвигаются изъ мрака неизвѣстности гг. Поликарповъ, Н. Морской, «Вопросительный знакъ» и вслѣдъ за ними—цѣлая фаланга ретивыхъ пасквилянтовъ, оплевывающихъ всѣхъ и каждаго, чья жизнь представляетъ какой-нибудь общественный интересъ... «Публика требуетъ... публика любитъ... публика привыкла»...—вотъ выраженія, не сходящія изъ устъ редакторовъ-издателей. Въ об-

щемъ получается «веселенькій пейзажъ», какъ выражался Череванинъ у Помяловскаго, и надъ всѣмъ этимъ виситъ въ воздухѣ, какъ туча, сплошной гулъ торгашевскихъ зазываній и крѣпкой ругани, совершенно оглушающій растерявшагося читателя.

На этой-же почвѣ погони за наживой и вытекающаго изъ нея раболѣпства передъ «публикой» возникли и журналы *«безъ направленія»*, развязно заявляющіе, что они представляютъ изъ себя не трибуны людей убѣжденныхъ, чего-то хотящихъ и куда-то стремящихся, а просто складочные сараи литературнаго хлама, лишь-бы онъ пришелся по вкусу публикѣ... И въ самомъ дѣлѣ, къ чему еще какое-то направленіе? Во-первыхъ, оно, видите-ли, стѣсняетъ развитіе талантовъ, гнететъ ихъ узостью кружковыхъ тенденцій (какъ-будто кружокъ и направленіе — одно и то же!), а во-вторыхъ, и сама публика довольно равнодушна ко всякимъ направленіямъ, кромѣ того, которое выражается коротенькой формулой—«надо жить!» Послѣдняго соображенія, разумѣется, вслухъ высказать нельзя,—и вотъ явилась настоятельная необходимость возвести въ направленіе самое это отсутствіе направленія. Нашлись искусники, успѣшно продѣлавшіе и этотъ фокусъ, и на знаменахъ ихъ органовъ появилось начертанное сусальнымъ золотомъ слово «культура», жрецами которой они провозгласили себя. Надо сознаться, выдумка эта не лишена своеобразнаго рыночнаго остроумія.

Получился, такимъ образомъ, круговоротъ, изъ котораго никакого движенія впередъ не выйдетъ, да и не можетъ выйдти: публика поддерживаетъ журналы, пришедшіеся ей по вкусу, журналы угождаютъ публикѣ — и обѣ стороны довольны другъ другомъ. Къ числу такихъ изданій относимъ мы и «Наблюдатель», майская книжка котораго лежитъ передъ нами.

Редакторъ «Наблюдателя», г. Пятковскій, во-первыхъ, все-таки литераторъ «шестидесятыхъ» годовъ и, во-вторыхъ, человѣкъ осторожный и на нововведенія, хотя-бы и остроумныя, не падкій. На своемъ журнальномъ знамени слово «культура» онъ не написалъ; онъ предпочелъ спрятаться за направленіе вполнѣ почтенное, давшее русской литературѣ много дѣльныхъ и полезныхъ органовъ. Направленіе это привлекло и продолжаетъ привлекать къ его журналу нѣкоторыя порядочныя литературныя силы, болѣе или менѣе заслуживающихъ уваженія тружениковъ слова. Однако, все это сущности дѣла не мѣняетъ, и принципъ раболѣпнаго угожденія публикѣ сквозитъ въ журналѣ очень явственно, если приглядѣться къ тому, какъ онъ ведется. Г. Пятковскій, напр., очень хорошо знаетъ, что въ читающей массѣ есть немало «аматеровъ насчетъ журнальной полноты», какъ бывали, если вѣрить Гоголю, «аматеры насчетъ полноты женской» *),—и вотъ «Наблюда-

*) Гоголь, «Женитьба», слова Жевакина.

тель выходить въ такомъ объемѣ, точно его раздуло отъ водянки, и при этомъ стоитъ всего 12 р. (безъ доставки). Какъ-же достигаетъ г. Пятковскій возможности давать за сравнительно низкую плату такъ много матеріала? Очень просто: онъ наполняетъ страницы журнала массой переводной беллетристики, помѣщаетъ въ каждомъ номерѣ чуть не печатный листъ изъ рукъ вонъ плохихъ стихотвореній, доставляемыхъ часто даромъ,—и дѣло улаживается. Бѣдность столичной интеллигенціи вошла въ пословицу: переводы въ наши дни стоять баснословно дешево; заплатить за листъ перевода отъ 8 до 15 руб., во всякомъ случаѣ, выгоднѣе, чѣмъ платить по 100—150 р. за листъ оригинальнаго произведенія. Что-же касается «публики», то и она остается не въ накладѣ, такъ какъ при такомъ веденіи дѣла журналъ оказывается переполненнымъ такъ-называемымъ легкимъ чтеніемъ.

Въ лежащей передъ нами майской книгѣ «Наблюдателя» одновременно печатается *шесть переводныхъ беллетристическихъ произведеній*, занимающихъ въ суммѣ около 15 печатныхъ листовъ изъ 25, составляющихъ объемъ всей книжки. Оригинальная беллетристика журнала составляетъ всего 4 листа, т. е. *втрое меньше*, и представлена всего двумя произведеніями: печатающимся гомеопатическими дозами романомъ г. Макс. Бѣлинскаго и дикой повѣстью г-жи Назарьевой, озаглавленною «Безправная». Выборъ переводныхъ произведеній также не отличается

особеннымъ вкусомъ: на ряду съ живыми и интересными разсказами Грентъ Аллена и съ такой крупной, по своему художественному значенію, вещью, какъ послѣдній романъ Золя «Идеалъ», читатель находитъ въ журналѣ хлыщеватые и легковѣсные очерки парижскаго фельетониста Альберта Вольфа «Прожигатели жизни», представляющіе рядъ поверхностныхъ замѣтокъ о разныхъ притонахъ разврата и никому ненужныхъ біографій свѣтскихъ шелопаевъ и кокотокъ. Въ той-же книжкѣ журнала напечатанъ цѣликомъ и новый буржуазно-тупой и шаблонный романъ Жоржа Онэ, Богъ вѣсть за какія достоинства вошедшаго въ послѣднее время въ моду во Франціи. Нетрудно такимъ образомъ убѣдиться, что г. Пятковскій и самымъ выборомъ статей усердно служитъ публикѣ, давая ей возможность при чтеніи произведенія Вольфа удовлетворить страстишки къ грязнымъ исторіямъ и скандаламъ, а при чтеніи романа Онэ затрогивая ея сантиментальныя струны и удовлетворяя любви ея къ интересной фабулѣ при пустотѣ содержанія. Въ этомъ-же родѣ были и многіе изъ переводовъ, помѣщенныхъ въ предыдущихъ книжкахъ журнала. Разсказы Катюля Мендеса поражали наглымъ цинизмомъ своего содержанія, повѣсти Эрнеста Додэ, брата знаменитаго Альфонса Додэ, оказались крайне безцвѣтными и шаблонными, равно какъ и длиннѣйшій англійскій романъ «Мормонъ», нагонявшій зѣвоту, не смотря на многочисленныя неожиданныя перипетіи борьбы между двумя его

дѣйствующими лицами — романтическимъ злодѣемъ и романтическимъ героемъ. Не лучше и поэзія «Наблюдателя». Г. Фофановъ, далеко не обдѣленный талантомъ, какъ мы имѣли случай это замѣтить въ прошлой бесѣдѣ, въ этотъ разъ отличился весьма сомнительнымъ образомъ, посадивъ въ стихотвореніи «Молитва ласточки» своего Зевса на *огненный престолъ* и совершенно упустивъ изъ виду, какъ много неудобствъ можетъ представить для бѣднаго бога та е раскаленное сѣдалище. Мудрено-ли, что при этомъ случаѣ поэтъ «различилъ» въ чертахъ божества, какъ онъ выражается, «тѣнь сумрачной тоски и тѣнь глубокой боли». Г. Можайскій сочинилъ какія-то варіаціи на тему извѣстной школьной пѣсенки: «наступилъ мѣсяцъ май, прилетѣла птица ай!» Г. Линдегренъ довольно неуклюже перевелъ небольшое стихотвореніе Франсуа Коппэ; г. Гославскій въ стихотворной филиппикѣ обрушился на заѣвшую насъ фразу, обозвавъ ее «свѣтлой, чарующей, сладостно-жгучей (???), ложной, мишурной звѣздой!» Но пальма первенства, какъ и слѣдовало ожидать въ силу естественнаго каламбура, безспорно принадлежитъ г. Пальмину. Г. Пальминъ рѣшительно нездоровъ: онъ боленъ «стихоточивостью» безъ удержа, безъ передышки. Въ сравнительно короткое время своей дѣятельности онъ выпустилъ два весьма увѣсистыхъ тома стихотвореній и продолжаетъ строчить въ «Осколкахъ» г. Лейкина по три пьесы въ недѣлю и въ другихъ журналахъ—въ томъ-же ко-

личествѣ. Что это за стихи, Богъ мой, что за стихи! Вотъ, напр., стихотвореніе «*Ау!*», помѣщенное въ «Наблюдателѣ»: «Писатели—братья», восклицаетъ г. Пальминъ, «жизнь темна, какъ лѣсъ, давайте-же аукаться въ ней священнымъ (?) зовомъ (?). Слушайте, я начинаю»—и дѣйствительно начинаетъ: «Ау, я взываю громовымъ проклятьемъ (?) гордынѣ, возставшей главой къ небесамъ» (Что это за гордыня такая?). «Ау!—шлю презрѣнье кичащейся силѣ, ау!--милымъ братьямъ, уснувшимъ въ могилѣ... Ау!—пронесется въ вѣкахъ» (скромно сказано!). И затѣмъ продолжается безъ умолка: «Ау,—братья по слову, Ау,—въ древнемъ прахѣ (?) боецъ опочившій... Ау!—геній жданный, покуда не жившій»—и заканчивается эта чепуха такъ: «Давайте-же въ жизненномъ лѣсѣ, какъ дѣти, аукаться! Братья, впередъ! Братъ брата найдетъ!»

Мы-бы, разумѣется, оставили въ покоѣ г. Пальмина, если-бы не одно небольшое обстоятельство: чуть не половина произведеній этого поэта наполнена негодованіемъ на недостойныхъ торгашей словомъ, ворвавшихся въ чистый храмъ искусства и превращающихъ его въ рынокъ. Ау! — милый братъ, г. Пальминъ,—чѣмъ кумушекъ считать трудиться... Знакома-ли вамъ эта басня?...

Зная, что «*публика*» не прочь позубоскалить и помня, вѣроятно, успѣхъ знаменитаго «Свистка», такъ оживлявшаго «Современникъ»,—г. Пятковскій завелъ и при своемъ журналѣ юмористическій от-

дѣлъ, озаглавивъ его «Фонографъ Наблюдателя». Но что къ лицу Юпитеру, — не къ лицу быку: «фонографъ» оказался плоскимъ и тупымъ, какъ большинство нашей современной юмористики: адвокаты, тещи, масляничное и пасхальное обжорство, лысины, легонькія насмѣшечки надъ политическими событіями,—вотъ набившія давно оскомину темы фонографа. Это не остроуміе,—это просто шутовство дурного тона. Въ майской книжкѣ журнала отдѣлъ этотъ, впрочемъ, отсутствуетъ.

Объ оригинальной беллетристикѣ «Наблюдателя» мы на этотъ разъ ничего не скажемъ: романъ г. М. Бѣлинскаго и повѣсть г-жи Назарьевой не окончены. Изъ предыдущихъ четырехъ номеровъ журнала у насъ сохранилось воспоминаніе о недурномъ разсказѣ г. Мачтета: «Его часъ насталъ» и мало даровитой повѣсти г-жи Дубровиной: «Пристроилась». Въ другихъ отдѣлахъ мы нашли небезъинтересную статью о положеніи современнаго итальянскаго рабочаго пролетаріата, нѣсколько бойкихъ сообщеній о «рыцаряхъ труда» въ Америкѣ и живыя замѣтки о современной французской литературѣ. Отдѣлъ «Новыя книги» составляется безцвѣтно и матерьяломъ очень небогатъ; кромѣ того, отзывы о книгахъ часто запаздываютъ. Въ «Современномъ Обозрѣніи» съ усердіемъ, достойнымъ лучшей участи, преслѣдуются евреи и притомъ въ самомъ нетерпимомъ и неприличномъ тонѣ, во вкусѣ нападокъ «Новаго Времени». Изъ сказаннаго не трудно заключить,

что собственно къ литературѣ, въ строгомъ смыслѣ этого слова, «Наблюдатель» относится въ очень небольшой степени и о каждой книжкѣ его говорить рѣшительно не стоитъ. Такъ мы и будемъ поступать впредь, отмѣчая въ нашей хроникѣ только что-нибудь выдающееся на страницахъ этого журнала,— если выдающемуся суждено будетъ какъ-нибудь проскользнуть на нихъ.

Совершенно иначе ведетъ свои дѣла г. Гайдебуровъ, выпускающій при «Недѣлѣ» двѣнадцать книжекъ въ годъ, посвященныхъ исключительно беллетристикѣ. До сихъ поръ этотъ типъ изданія,— беллетристическія приложенія къ газетѣ,—тоже нельзя было признать вполнѣ литературнымъ; таковы и теперь еще книжки «Гражданина», «Живописнаго Обозрѣнія» (1886 г.), «Свѣта» и др. органовъ. Если онѣ и не составляются сплошь изъ переводовъ, то во всякомъ случаѣ съ художественной точки зрѣнія представляютъ весьма сомнительную цѣнность. Г. Гайдебуровъ довелъ свои книжки до того, что онѣ получили интересъ сами по себѣ, помимо газеты, дополненіемъ къ которой онѣ служатъ. Правда, требованія «публики», въ смыслѣ читающей массы, не совсѣмъ игнорируется и книжками «Недѣли»: можно и въ нихъ встрѣтить произведенія, интересныя развѣ только со стороны сложной фабулы. Такова, напримѣръ, печатающаяся въ нихъ теперь повѣсть г. Мордовцева: «Нашъ Одиссей», гдѣ дѣйствительное со-

бытіе, само по себѣ довольно маловажное, безконечно растянуто и размазано г-мъ Мордовцевымъ и передано, къ тому-же, въ самой примитивной беллетристической формѣ. Особенно курьезными показались намъ тѣ страницы этой «исторической» повѣсти, на которыхъ г. Мордовцевъ самымъ дѣтскимъ образомъ умиляется передъ мощью кулаковъ одного «россійскаго Геркулеса» старыхъ временъ, офицера Лукина. Нельзя сказать, чтобы г-ну Мордовцеву удалось въ лицѣ своего «Одиссея», подарить нашу публику особенно глубокомысленнымъ и художественнымъ произведеніемъ. За то на страницахъ «Книжекъ Недѣли» не рѣдкость встрѣтить имена Льва Толстаго, Салтыкова, Гл. Успенскаго, Д. Сибиряка, Я. Полонскаго, Л. Русскина, Н. Минскаго и др. Помимо этихъ общепризнанныхъ талантовъ въ «Недѣлѣ» попадаются иногда и даровитые дебютанты, къ числу которыхъ мы относимъ г. В. Маценко, помѣстившаго тамъ въ этомъ году повѣсть «На свой ладъ»—вещицу очень свѣжую и написанную правдиво и жизненно.

Въ майской книжкѣ, лежащей теперь передъ нами, мы нашли милый и симпатичный небольшой разсказъ В. А—ова, названный «*Изъ первыхъ*». Разсказецъ этотъ весьма несложенъ по своей фабулѣ: жилъ былъ молодой студентъ и молодая дѣвушка; они встрѣтились и, какъ слѣдовало ожидать, полюбили другъ друга. Повидимому, никакихъ помѣхъ къ счастливому браку не предвидѣлось,—но тутъ

примѣшалось одно нѐбольшое обстоятельство. Дѣло происходило въ ту эпоху нашей жизни, когда среди русскихъ женщинъ впервые проснулось сознаніе своей равноправности и жажда учиться и быть полезными. И дѣвушка, и юноша пожертвовали наукѣ своимъ чувствомъ: она уѣхала за границу «*изъ первыхъ*» русскихъ женщинъ,—онъ окончилъ университетъ, сдѣлался докторомъ и дѣятелемъ и въ концѣ концовъ женился на другой, сохранивъ, впрочемъ, самое теплое дружеское чувство къ подругѣ своей юности. Не то было съ нею: она навсегда осталась вѣрной своей первой любви, и бракъ его былъ для нея тяжелымъ ударомъ. Маленькая драма эта выясняется въ послѣдней сценѣ разсказа, въ которой авторъ сводитъ своихъ героевъ у самовара, въ тихій лѣтній вечеръ, и заставляетъ ихъ предаться воспоминаніямъ прошлаго. Разсказецъ написанъ очень тепло и хорошимъ языкомъ. Тонкая струйка юмора, кой-гдѣ пробивающаяся въ немъ, очень его оживляетъ. Ни мѣткой психологіи, ни яркихъ характеровъ читатель въ немъ не найдетъ; но прочтетъ онъ его съ удовольствіемъ, и впечатлѣніе у него останется хорошее, ободряющее, свѣтлое. Въ этой-же книжкѣ «Недѣли» нашли мы продолженіе романа г. Ильина «Въ новомъ краю»,—большое, но неудачное стихотвореніе г. Толмачева и въ переводной части, продолженіе романовъ Берингъ-Гульда «Встрѣчные токи» и Золя «Въ мірѣ искусства». Романъ г-на Ильина очень интересенъ по тѣмъ фактамъ, кото-

рые сообщаетъ авторъ изъ жизни ташкентскаго края; жаль только, что онъ не удержался отъ пріобрѣвшей у насъ право гражданства замашки выводить въ беллетрическомъ произведеніи подъ прозрачными псевдонимами извѣстныя личности; такой манеры слѣдуетъ избѣгать, хотя-бы выводимыя лица уже сошли со сцены, какъ сошли съ нея герои г-на Ильина. О переводахъ «Недѣли» много распространяться не будемъ: они исполняются всегда очень тщательно и выборъ въ большинствѣ случаевъ бываетъ вполнѣ удачный.

Лѣто начинаетъ мало-по-малу вступать въ свои права. На литературѣ оно отражается обыкновенно пустотой въ журналахъ и почти полнымъ прекращеніемъ издательской дѣятельности. Пожелаемъ-же хорошенько отдохнуть и поправиться всѣмъ, кто честно потрудился за зиму: много нужно силъ для тяжелаго и труднаго литературнаго пути! Это не фраза: на долю литератора выпадаетъ одна изъ самыхъ трудныхъ и отвѣтственныхъ обязанностей общественной жизни. Я позволю себѣ напомнить читателямъ одно небольшое стихотвореніе Я. П. Полонскаго, особенно ярко иллюстрирующее эту мысль. Вотъ оно: «Писатель, если только онъ волна, а океанъ—Россія, не можетъ быть не возмущенъ, когда возмущена стихія! Писатель, если только онъ есть нервъ великаго народа, не можетъ быть не пораженъ, когда поражена свобода!»

V.

(Посмертное стихотвореніе Пушкина.—О г-нѣ Буренинѣ).

У французскаго поэта Булье есть очень хорошенькое стихотвореніе, прекрасно переведенное на русскій языкъ П. И. Вейнбергомъ. Въ стихотвореніи этомъ разсказывается, что жилъ-былъ нѣкогда на бѣломъ свѣтѣ поэтъ, который такъ хорошо пѣлъ, что даже звѣзды не могли равнодушно слушать его, и однажды, въ ясную лѣтнюю ночь, внимая чудной гармоніи его стиховъ, алмазнымъ дождемъ посыпались съ неба на пѣвца. На слѣдующее утро поэтъ почувствовалъ себя голоднымъ и, вспомнивъ о богатствѣ, доставшемся ему наканунѣ, постучался у дверей перваго встрѣчнаго дома и попросилъ дать ему кусокъ хлѣба, обѣщая расплатиться за него звѣздой. Но толстые, самодовольные, тупые буржуа съ насмѣшками отогнали пѣвца отъ своего порога. Тѣ-же насмѣшки были ему отвѣтомъ всюду, куда онъ ни обращался, и бѣдный пѣвецъ умеръ съ голода, въ страшной нищетѣ. «Но настанетъ день»,—

вдохновенно заканчиваетъ свое стихотвореніе Булье,— «и дрогнетъ земля, и расколется крышка гроба, и яркимъ снопомъ брызнутъ изъ него алмазныя звѣзды, проливая свой чудный, кроткій свѣтъ на весь міръ Божій!»

Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ навсегда захлопнулась крышка гроба надъ нашимъ внезабвеннымъ, роднымъ соловьемъ — Пушкинымъ, но изъ его темной могилы, отъ времени до времени, не перестаютъ вырываться и свѣтить отчизнѣ чудныя, поэтическія звѣзды его пѣсенъ. Читатели «Зари» прочли, конечно, новыя четыре строфы изъ «Родословной моего героя», на-дняхъ цѣликомъ перепечатанныя «Зарей» изъ «Русской Мысли». Хвалить ихъ было-бы верхомъ дерзости съ нашей стороны,—да это, разумѣется, и не нужно: изящная, чисто «пушкинская» простота стиха, тонкій, граціозный юморъ, чарующая мелодичность, роскошь образовъ и красокъ,—все это говоритъ само за себя, все это слишкомъ бьетъ въ глаза, чтобы не быть замѣченнымъ и оцѣненнымъ, безъ всякихъ критическихъ комментаріевъ съ нашей стороны. Г. Онѣгинъ, сообщившій эти строки въ «Русскую Мысль», въ небольшомъ предисловіи къ нимъ заявляетъ, между прочимъ, что, владѣя бумагами покойнаго Жуковскаго, онъ имѣетъ въ виду подѣлиться съ читателями еще многими, не напечатанными до сихъ поръ, строками Пушкина, найденными въ этихъ бумагахъ. Намъ остается только отъ всей души поблагодарить г. Онѣгина за это обѣ-

щаніе и порадоваться, что драгоцѣнный матеріалъ попалъ въ руки человѣка, съумѣвшаго понять все его громадное художественное значеніе. Къ сожалѣнію, это не всегда бываетъ.

Кромѣ этого отрывка изъ Пушкина, мы не нашли на страницахъ майской книги «Русской Мысли» ничего, особенно стоющаго вниманія: романы Эртеля и Сибиряка все еще не закончены, а небольшой разсказецъ В. Салова: «Доѣзжачій», по нашему мнѣнію, не имѣетъ особеннаго литературнаго интереса. Г. Саловъ—разсказчикъ живой, наблюдательный и опытный; фигура старика Кира, умирающаго съ горя по своей погибшей охотничьей славѣ, нарисована Саловымъ умѣло, ярко и выпукло. Нѣкоторыя мѣста разсказа даже трогаютъ; но, строго говоря, всѣ эти вздохи о прошломъ, когда крѣпостное право давало возможность помѣщикамъ предаваться страсти къ охотѣ безъ всякаго удержу, могутъ быть интересны только для очень ограниченнаго круга людей. Я, напр., никакъ не могу позабыть, что на охоту въ старое время самымъ безжалостнымъ образомъ сгонялись отовсюду крестьяне, оторванные отъ своего дома и дѣла, что крестьянскія нивы нерѣдко совершенно погибали подъ копытами лошадей неистовавшихъ охотниковъ, и что барскій арапникъ не разъ хлесталъ по спинѣ и плечамъ какого-нибудь неловкаго выжлятника или доѣзжачаго; все это сильно уменьшаетъ въ моихъ глазахъ прелесть этой пресловутой «потѣхи» нашихъ дѣдовъ и прадѣдовъ. Къ

тому же типъ Кира, выводимый г. Саловымъ, вовсе не новъ въ нашей литературѣ: я помню такого же виртуоза-доѣзжачаго въ одномъ изъ разсказовъ Андрея Печерскаго. Напоминаетъ онъ нѣкоторыми своими сторонами и знаменитаго «Ерошку» изъ «Казаковъ» графа Л. Толстаго.

Кстати объ Ерошкѣ: я думаю, что не сдѣлаю большой нескромности, если сообщу читателямъ нѣсколько подробностей о томъ періодѣ жизни графа Толстаго, когда онъ, служа на Кавказѣ, проводилъ время въ обществѣ Ерошки и другихъ героевъ своей повѣсти. Какъ-то я получилъ письмо отъ одного изъ моихъ друзей, разъѣзжающаго съ зоологическими цѣлями въ тѣхъ краяхъ. Въ письмѣ этомъ онъ между прочимъ сообщаетъ мнѣ, что ему удалось въ глухомъ углу Ставропольской губерніи познакомиться съ казакомъ, лично знавшимъ Толстаго во время его пребыванія между гребенскими казаками. Это еще очень живой и бодрый старикъ, отлично помнящій графа, бывшаго тогда юношей, и много разсказывавшій о немъ моему пріятелю. Между прочимъ, онъ говорилъ ему, что, живя въ станицѣ, графъ все свое свободное время отдавалъ охотѣ, и что домъ его былъ всегда открытъ для всѣхъ удальцевъ и джигитовъ станицы. Съ «Ерошкой» — настоящее имя его было Епишка—графъ былъ въ особенно дружескихъ отношеніяхъ и уѣзжая звалъ его съ собой; тотъ отказался и потомъ очень жалѣлъ объ этомъ. Теперь его давно уже нѣтъ на свѣтѣ.—Ста-

рикъ-разсказчикъ знаетъ грамоту, читалъ «Казаковъ» и слышалъ о теперешней славѣ графа Толстаго; когда же мой пріятель попытался дать ему понятіе о послѣдней дѣятельности графа, онъ добродушно разсмѣялся и замѣтилъ: «Вотъ бы подойти къ нему теперь и сказать ему на ушко: Левъ Николаевичъ, а Старогладовскую станицу помните?»

Въ послѣднее время къ такому большому кораблю, какимъ является въ нашей литературѣ Левъ Толстой даже и въ глазахъ людей, не раздѣляющихъ его философскихъ и этическихъ воззрѣній, самымъ усерднымъ образомъ старается прицѣпить свою утлую ладью другой, въ нѣкоторомъ родѣ, «писатель» и «графъ»,—графъ Алексисъ Жасминовъ. Дѣлаетъ онъ это очень характерно: съ напускнымъ умиленіемъ кадя великому романисту, онъ въ то же время зорко слѣдитъ по сторонамъ, норовя задѣть своимъ кадиломъ всю остальную нищущую братію. «Толстой», проповѣдуетъ онъ, «это дѣйствительно «левъ» нашей литературы, и всѣ прочіе, въ сравненіи съ нимъ, являются *«козлами, баранами и поросятами»* (!!). Послѣ «Смерти Ивана Ильича» трудно писать разсказы о дѣйствительной жизни, безъ грустной и серьезной думы, что все нами *(кѣмъ?)* написанное будетъ далеко отъ той реалистической правды и глубины, которыя теперь, благодаря генію нашего литературнаго льва, почти обязательны для художественной повѣсти.» Высокій комизмъ этихъ строкъ выступаетъ особенно ярко,

если припомнить собственные беллетристическіе опыты графа Жасминова: порнографія самаго низкаго качества бьетъ въ глаза съ каждой страницы этихъ «реалистическихъ повѣстей изъ дѣйствительной жизни». Вздрагивающія бедра», «обнаженныя плечи», «античныя руки», «неприкрытая грудь,—«паденіе» въ началѣ разсказа, «паденіе» въ серединѣ и «паденіе» въ концѣ... сцены въ спальняхъ, будуарахъ, купальняхъ и иныхъ мѣстахъ, излюбленныхъ порнографистами,—все это разсыпано въ повѣстяхъ графа Жасминова въ такомъ изобиліи, что становится совершенно непонятнымъ, причемъ тутъ «серьезныя (!) и грустныя (!) думы о реалистической правдѣ и глубинѣ!» Впрочемъ, въ сегодняшнемъ фельетонѣ у меня нѣтъ мѣста заниматься подробно беллетристикой графа, но я обѣщаю читателямъ сдѣлать это въ ближайшемъ будущемъ: графъ Жасминовъ столько лѣтъ работаетъ и до сихъ поръ никто еще не подводилъ итоговъ его литературнымъ заслугамъ. Это непростительный «пробѣлъ» въ нашей критикѣ!

Достается въ разбираемомъ мною фельетонѣ и молодымъ поэтамъ, которыхъ особенно не возлюбилъ за что-то графъ. Какихъ, какихъ только обвиненій не сыплетъ онъ на ихъ безталанныя головы! И рифмы-то у нихъ въ родѣ «ножницы» и «любовницы», «кратеръ» и «характеръ», и «пищатъ»-то они и «мяукаютъ», и «отбили у публики вкусъ къ стихамъ», и «опошлили стихотворное остроуміе».

Цѣлый музеумъ непростительнѣйшихъ литературныхъ преступленій! Испуганный и потрясенный, я навожу немедленныя справки и убѣждаюсь, что произведенія «мяукающихъ поэтиковъ», отбившихъ у публики вкусъ къ стихамъ, раскупаются очень бойко, тогда какъ стихотворные опыты самого графа преспокойно лежатъ себѣ на полкахъ книжныхъ магазиновъ, дожидаясь болѣе развитаго, въ художественномъ отношеніи, читателя, чѣмъ читатель современный. Вслѣдъ затѣмъ я заглядываю въ послѣдній сборникъ графа: «Пѣсни и шаржи», и нахожу тамъ по части рифмъ такіе, наприм., перлы: «*типъ*» и «прин*ципъ*», «цѣли» и «*въ*олончели», «Анфиса» и «дивися». «Маріинскій театръ» графъ именуетъ «Мàрьинскимъ», а вмѣсто «Испанія» говоритъ «Испанья». Изъ этого-же сборника почерпаю и образчики остроумія, *опошленнаго* молодыми поэтами; вотъ одинъ изъ этихъ образчиковъ: «Желаніе обѣдать каждый день», замѣчаетъ графъ, «насъ (кого?) побуждаетъ дѣлать все на свѣтѣ», а именно: писать стихи, «вертѣть носкомъ въ балетѣ» (?), пускать въ ходъ акціи, сочинять проекты реформъ, и пр., и пр.,—или, наконецъ, «постыднымъ сдѣлаться сутягой, какъ Егозовичъ, славный адвокатъ, прыгнувшій изъ поповичей въ поляки, и ***, тотъ присяжный... гадъ (!), чьи лживыя уста, какъ зѣвъ клоаки, продажнымъ краснорѣчіемъ *смердятъ* (!); кто съ озлобленьемъ бѣшеной собаки, взявъ рубль желанный отъ блудливыхъ вдовъ, преслѣдовать пе-

чать (!) всегда готовъ. Наемный плутъ, изъ нѣдръ своей душенки выбрасывалъ онъ на судѣ не разъ зловонныя и грязныя поддонки фальшиво-либеральныхъ словъ и фразъ»... Не выписываю дальше,— тамъ все идетъ въ томъ-же родѣ. Признаюсь, такое остроуміе, при всемъ желаніи опошлить, не легко. Оно получаетъ особенный блескъ, если вспомнить, что подъ псевдонимомъ «Егозовичъ» и подъ тремя звѣздочками графъ Жасминовъ выводитъ двухъ дѣятелей нашей адвокатуры, когда-то больно отхлеставшихъ его на судѣ за одинъ изъ его «литературныхъ подвиговъ».

Итакъ, графъ пришелъ къ убѣжденію, что писать «реалистическія повѣсти» послѣ Толстаго нельзя, изъ опасенія самому попасть въ разрядъ козловъ, барановъ и поросятъ, а вкусъ къ стихамъ,—по крайней мѣрѣ къ стихамъ графа,—совершенно пропалъ въ невѣжественномъ современномъ читателѣ. Между тѣмъ, «желаніе обѣдать каждый день», толкающее человѣка на всевозможныя пакости, очень живо въ поэтической душѣ графа. Какъ-же быть? На выручку къ графу является никогда не покидающій его геній изобрѣтательности. «Отчего вы не попробуете,—говоритъ графу его муза,—писать стихи безъ рифмъ и размѣра!» Можно было-бы отвѣтить музѣ, что идея ея вовсе не нова, что такіе стихи уже писали: у насъ—Тургеневъ, у французовъ— Шарль Боделэръ. Но графъ или не боится ихъ соперничества, какъ боится соперничества Толстаго, или

забываетъ объ этомъ обстоятельствѣ. Онъ хватается за мысль своей музы, какъ за какую-то вновь открытую Америку. «Въ самомъ дѣлѣ,—говоритъ онъ,—рифма—небольшая выгода («Анфиса» и «дивися!»), а отсутствіе ея—небольшая бѣда. Даже и для самыхъ романтическихъ сюжетовъ не надо стихотворной формы, чтобъ они вышли поэтическими и трогательными; ихъ легко можно обработать и прозой, разумѣется, подъ тѣмъ условіемъ, чтобы проза эта была хороша». Для подтвержденія этой лжи, онъ беретъ тему, дѣйствительно очень романтическую, и передаетъ ее прозой, дѣйствительно очень недурной. Что-же, однако, изъ этого слѣдуетъ? Если графъ хотѣлъ сказать своей балладой, что произведенія, выраженныя прозой, могутъ быть поэтичными по содержанію,—я совѣтую ему зайти на-досугѣ въ третій классъ любой гимназіи, и онъ убѣдится, что даже для гимназистовъ эта идея не будетъ новой: они покажутъ графу второй томъ хрестоматіи Галахова, носящій общее заглавіе «Поэзія», хотя далеко не всѣ произведенія, помѣщенныя въ немъ, написаны стихами. Если-же графъ хотѣлъ сказать, что стихотворная форма совсѣмъ не нужна въ литературѣ,—онъ, дѣйствительно, открылъ Америку, но, увы!—Америку очень сомнительную. Не маніаки-же и не сумасшедшіе были Пушкинъ и Лермонтовъ, убившіе такую массу труда на выработку стихотворной формы въ своихъ произведеніяхъ! У нея есть своя область и свои выгоды: тѣсныя рамки

стиха требуютъ отъ поэта большей точности, яркости, сжатости и силы, чѣмъ просторъ, предоставляемый прозой. Что-же касается музыкальной прелести, придаваемой стиху рифмой, я думаю, ея не сталъ-бы отрицать и самъ князь Тугоуховскій. Впрочемъ, все это до такой степени азбучно, что мнѣ просто совѣстно повторять эти истины. Если-бы графъ заглядывалъ иногда въ психологическіе этюды на эту тему, онъ убѣдился-бы, что извѣстная ритмичность рѣчи вообще свойственна человѣку въ минуты глубокаго душевнаго потрясенія; онъ нашелъ-бы подтвержденіе этого даже въ своей балладѣ, приглядѣвшись къ разстановкѣ словъ въ наиболѣе патетическихъ мѣстахъ ея. Укажу ему еще на извѣстный романъ Алексѣя Толстаго, гдѣ наиболѣе лирическія страницы написаны тою размѣрной прозой, которую принято называть «бѣлымъ стихомъ». Нѣтъ, рѣшительно не удается графу Жасминову сдѣлаться «новаторомъ» въ нашей литературѣ!

Романтическая баллада «Олафъ и Эстрильда» входитъ въ фельетонъ графа, названный «Обезьяна— поэма въ прозѣ», только, какъ вводный эпизодъ; главнымъ-же героемъ поэмы является, какъ говоритъ графъ, обезьяна. Фельетонъ только что начатъ и, по правдѣ сказать, продолженіе его не очень интересуетъ насъ. Не нужно обладать особымъ даромъ предвидѣнія, чтобы предсказать, что и онъ въ концѣ концовъ сведется на пасквиль, какъ многія другія произведенія графа. Я хочу только попутно

сдѣлать маленькое замѣчаніе графу. Заканчивая свою балладу, онъ говоритъ: «Предоставляю нашимъ высокообразованнымъ критикамъ и не менѣе высокообразованнымъ поэтамъ изслѣдованіе о томъ, кто авторъ этой баллады; сочинилъ-ли я эту балладу самъ или взялъ ее у какого-либо современнаго поэта,—оставляю это въ тайнѣ». Въ качествѣ «высокообразованнаго поэта», я беру на себя смѣлость замѣтить графу, что сочинить такую балладу вовсе не большая мудрость; что основной мотивъ ея—бѣдный, молодой пѣвецъ, влюбившійся въ дочь или жену короля и погибшій отъ этой любви,—далеко не новъ; что множество варіантовъ на эту тему можно найти во всей сѣверо-западной поэзіи, и одинъ изъ самыхъ близкихъ къ варіанту, передаваемому графомъ, написанъ Уландомъ и переведенъ г. Вейнбергомъ, подъ заглавіемъ «*Проклятіе пѣвца*». (См. нѣмец. поэты Гербеля). Дальше графъ говоритъ: «Читатели знаютъ, что до сихъ поръ еще ни одинъ поэтъ не избиралъ своимъ героемъ обезьяну. Разумѣется, тѣмъ больше чести мнѣ: я являюсь единственнымъ въ данномъ случаѣ. Пускай Гомеръ воспѣвалъ Ахилла, Виргилій — Энея, Мильтонъ — Сатану; я воспою обезьяну.» Я долженъ замѣтить графу, что даже и выдумать эту обезьяну ему не удалось: она фигурируетъ въ поэзіи со временъ, гораздо болѣе отдаленныхъ, чѣмъ времена Гомера и Виргилія; царь обезьянъ Гануманъ, сынъ царя вѣтровъ, Паваны, является однимъ изъ видныхъ героевъ индѣй-

ской миѳологіи. Въ Калькуттѣ ему выстроенъ огромный храмъ, гдѣ онъ изображенъ съ лирой въ рукахъ, какъ основатель одной изъ четырехъ системъ индѣйской музыки. Надѣюсь, что послѣ такого высокоученаго замѣчанія моя образованность становится внѣ насмѣшекъ почтеннаго графа. Но этого мало: сразившись съ нимъ на почвѣ теоретической, я хочу сразиться и на почвѣ практической. Я предлагаю переложить въ стихи, первые пять строфъ его баллады, предоставивъ читателямъ рѣшить, выиграетъ или проиграетъ она отъ этого «писка» и «мяуканья». Начинаю, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ. Сначала—отрывокъ изъ образцовой прозы графа. Вотъ онъ:

«*Олафъ и Эстрильда*».

«Кто онъ, сказалъ король Гаральдъ,—кто тотъ пѣвецъ, чьи пѣсни раздались по всей Норвегіи? Эти пѣсни поетъ крестьянинъ за сохой, морякъ, распуская бѣлый парусъ на морѣ. Я часто слышалъ эти пѣсни на поляхъ битвъ: ихъ распѣвали рыцари, устремляясь на врага. Я хочу узнать, я хочу увидѣть этого пѣвца-волшебника,—приведите его въ мой замокъ».

Король Гаральдъ сидѣлъ на своемъ золотомъ тронѣ. Къ нему привели молодаго Олафа, искуснаго пѣвца, крестьянскаго сына. Посмотрѣлъ Олафъ направо, посмотрѣлъ налѣво—кругомъ стояли толпой придворные въ блестящихъ цвѣтныхъ нарядахъ;

они оглядывали пѣвца и шептались и смѣялись между собою.

Посмотрѣлъ молодой Олафъ на своего повелителя. Кто сидитъ тамъ на тронѣ, рядомъ съ королемъ, въ голубой одеждѣ, подобной небу? Это прекрасная Эстрильда, дочь короля. Она стройна и гибка, точно ель въ лѣсу; у нея лицо бѣлое, бѣлое, какъ чистый снѣгъ. Точно золото развѣваются ея волосы и глубоки ея глаза, будто синее море.

Она не смѣялась и не шептала. Ея глубокіе, кроткіе глаза говорили: томится моя душа, тяжело мнѣ тутъ, среди этого блеска, среди окружающихъ меня, одѣтыхъ въ золото и шелкъ пустыхъ людей. Исцѣли мое больное сердце, молодой пѣвецъ, исцѣли его своими волшебными пѣснями.

Молодой Олафъ ударилъ по струнамъ. Подобно орлу понеслась его пѣсня, полная силы. Онъ пѣлъ о солнцѣ, которое свѣтитъ міру, объ эльфахъ, пляшущихъ на цвѣтахъ въ благоухающую весеннюю ночь, о герояхъ стараго времени, сражавшихся въ бояхъ, объ ихъ честныхъ ранахъ и о благосклонности женщинъ, исцѣляющихъ раны.

Такъ повѣтствуетъ графъ. Теперь попробую я.

I.

— «Кто онъ», — молвилъ Гаральдъ, — «тотъ пѣвецъ-чародѣй, Тотъ избранникъ, отмѣченный Божьимъ перстомъ,

Чьи напѣвы звучатъ по отчизнѣ моей,
Зажигая сердца непонятнымъ огнемъ?
Ихъ поетъ поселянинъ, трудясь за сохой,
И поетъ ихъ рыбакъ, выплывая въ заливъ,
Бѣлый парусъ надъ лономъ волны голубой
Горделиво на-встрѣчу зарѣ распустивъ;
Я слыхалъ ихъ подъ грохотъ желѣзныхъ мечей,
На кровавыхъ поляхъ, въ безпощадномъ бою,
И внималъ имъ въ лѣсу, у бивачныхъ огней,
Торжествуя съ дружиной побѣду мою; —
И хочу я услышать ихъ въ замкѣ моемъ!..
Призовите-жъ пѣвца!.. Пусть, спокоенъ и смѣлъ,
Онъ споетъ предо мной, предъ своимъ королемъ,
То, что съ дивною силой народу онъ пѣлъ!..»

II.

Льютъ хрустальныя люстры потоки лучей,
Шелкъ, алмазы и бархатъ блистаютъ кругомъ,
И Гаральдъ, окруженный толпою гостей,
Возсѣдаетъ на тронѣ своемъ золотомъ...
Распахнулась завѣса,—и вводятъ пѣвца:
Онъ въ крестьянскомъ нарядѣ и съ лютней въ рукахъ;
Вьются кудри вокругъ молодаго лица,
Пылетъ знойный загаръ на румяныхъ щекахъ...
Поклонился пѣвецъ королю и гостямъ.
Оглядѣлся вокругъ,—и смутился душой:
Слышитъ юный Олафъ,—пробѣжалъ по рядамъ
Тихій смѣхъ, словно моря далекій прибой;
Видитъ юный Олафъ: сотни чуждыхъ очей
На него любопытно и зорко глядятъ...
Льютъ хрустальныя люстры потоки лучей,
Шелкъ, алмазы и бархатъ повсюду горятъ...

III.

И взглянулъ онъ впередъ, оглушенъ, ослѣпленъ
И испуганъ богатствомъ, разлитымъ кругомъ...

Боже, что съ нимъ такое?.. То явь, или сонъ?
Кто тамъ рядомъ, на тронѣ, съ его королемъ?
То Эстрильда—краса, королевская дочь...
Ярче вешнихъ небесъ на Эстрильдѣ нарядъ...
И не въ силахъ волненья Олафъ превозмочь,
И не въ силахъ отвесть очарованный взглядъ.
Какъ зеленая ель въ заповѣдныхъ лѣсахъ,
Молодая царевна гибка и стройна;
Какъ сверкающій снѣгъ на норвежскихъ горахъ,
Молодая царевна печально-блѣдна.
По плечамъ разметались душистой волной
Золотистыя кольца упрямыхъ кудрей,
И какъ море темно передъ близкой грозой, —
Такъ темна глубина ея синихъ очей...

IV.

Не смѣются они надъ смущеннымъ пѣвцомъ,—
Нѣтъ, они говорятъ: я грустна... я больна...
Ахъ, зажги мое скорбное сердце огнемъ,
Разбуди мое скорбное сердце отъ сна!
Что мнѣ роскошь дворца? Что мнѣ пышный нарядъ?
Что мнѣ льстивыя рѣчи корыстныхъ рабовъ?
Я хотѣла-бы въ лѣсъ, гдѣ деревья шумятъ,
Я хотѣла-бъ въ поля, на коверъ изъ цвѣтовъ!..
Позабытая всѣми, свободна, одна,
Убѣжать я хотѣла-бъ на берегъ морской,
Чтобъ послушать, какъ дышетъ въ туманѣ волна
И какъ вѣтеръ, ласкаясь, играетъ съ волной...
Ненавистенъ и тяжекъ мнѣ царскій вѣнецъ,—
Ненавистнѣй тюрьмы и тяжеле цѣпей!..
Исцѣли-жъ мое бѣдное сердце, пѣвецъ,
Исцѣли его сладкою пѣсней своей!..

V.

И ударилъ Олафъ по струнамъ, и запѣлъ,—
Такъ запѣлъ, какъ донынѣ еще не пѣвалъ:

Юный голосъ слезами печали звенѣлъ,
Зноемъ страсти и нѣгой желаній дрожалъ.
Пѣлъ о солнцѣ Олафъ и о ясной веснѣ,
О манящихъ улыбкахъ и нѣжныхъ очахъ;
Пѣлъ о томъ, какъ въ весеннюю ночь, при лунѣ,
Пляшутъ Эльфы, рѣзвясь на душистыхъ цвѣтахъ;
Пѣлъ о громкихъ дѣяньяхъ могучихъ вождей,
Пѣлъ о славныхъ сраженьяхъ и ранахъ бойцовъ,
О печали ихъ женъ, о любви матерей,
О смятеньѣ и страхѣ сраженныхъ враговъ,—
И была его пѣснь, словно буря, дика,
Словно буря ночная въ родимыхъ горахъ,
И была его пѣснь, какъ молитва сладка,
Какъ молитва на дѣтскихъ, невинныхъ устахъ!...

Довольно, я думаю. Для меня не было-бы очень большимъ трудомъ переложить такимъ образомъ всю балладу, но я боюсь, что и такъ успѣлъ наскучить читателямъ. «Смѣю думать»,—скажу я въ заключеніе, пародируя слова графа Жасминова,—«что я отчасти достигъ моей цѣли»; жаль только, что взялся за это дѣло именно я, а не кто-нибудь другой изъ моихъ молодыхъ товарищей, болѣе меня сильный въ эпическомъ родѣ,—напр., хоть г. Мережковскій, доказавшій свое выдающееся эпическое дарованіе прекрасными подражаніями Данте, которыя онъ напечаталъ въ этомъ году въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ».

VI.

(Статьи гг. В. В., Михайловскаго и Лесевича).

Еще недавно мнѣ пришлось бесѣдовать съ читателемъ о рыночномъ направленіи, овладѣвшемъ въ послѣднее время многими изъ нашихъ періодическихъ изданій, и указывать на огромное зло, вносимое имъ въ журналистику. Рѣзкую противоположность съ органами этого рода представляетъ собою «Сѣверный Вѣстникъ», майская книжка котораго заняла очередное мѣсто въ моей хроникѣ. Насколько въ органахъ рыночныхъ все случайно, пестро, легковѣсно, безсвязно, — настолько въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» и подборъ статей, и ихъ содержаніе отличаются строгой обдуманностью и жизненностью, показывая, что журналомъ руководитъ въ послѣднее время твердая редакторская рука и что сотрудники его «спѣлись» между собою и дѣйствуютъ дружно и единодушно. Передъ нами — литературный органъ, въ лучшемъ смыслѣ этого слово, а не сшитый на живую нитку, лишенный какой-либо опредѣленной окраски альма-

нахъ, предназначенный для безпечальнаго времяпрепровожденія благополучныхъ россіянъ. Журналъ прогрессируетъ съ каждой вновь появляющейся книжкой, обѣщая вполнѣ оправдать тѣ надежды, которыя возлагались на него при его появленіи лучшей частью нашей интеллигенціи, и которыя нѣсколько поостыли въ первое время его дѣятельности, не чуждой колебаній и уклоненій въ сторону...

Одной изъ самыхъ значительныхъ по содержанію и захватывающихъ по интересу является въ майской книжкѣ статья г-на В. В, озаглавленная: «*Ученіе о нравственности Кавелина*». Я позволю себѣ, однако, не согласиться съ мнѣніемъ г. В. В., считающаго появленіе книги Кавелина фактомъ малознаменательнымъ для нашей молодежи, на томъ основаніи, что между поколѣніемъ, къ которому принадлежалъ Кавелинъ, и между юношествомъ, для котораго написана его книга, стоитъ еще *зрѣлый человѣкъ*. Г-нъ В. В. полагаетъ, что именно этотъ зрѣлый человѣкъ и долженъ былъ-бы, на основаніи своей жизни и дѣятельности, изслѣдовать вопросы о нравственности и завѣщать результаты этого изслѣдованія молодежи, какъ послѣдніе и самые полные итоги, какъ крайнюю черту, съ которой она должна начать свое этическое движеніе впередъ. Мнѣ кажется, что основы этики, какъ науки, не могутъ кореннымъ образомъ измѣниться въ одно-два десятилѣтія; если-же принять во вниманіе бѣдность нашей литературы по этому предмету и настоятельно-чув-

ствуемую молодежью необходимость въ неотложномъ рѣшеніи вопроса — *какъ жить*, чтобы жить нравственно, сохраняя полный миръ и гармонію съ своей совѣстью,—нужно признать появленіе книги Кавелина обстоятельствомъ важнымъ и желательнымъ. Пусть Кавелинъ во многомъ ошибается, пусть его этическая система одностороння и узка,—важно то, что вопросъ этотъ поднятъ, что о немъ говорятъ, его обсуждаютъ. Рано или поздно, изъ всѣхъ этихъ споровъ и дебатовъ несомнѣнно брызнетъ лучъ истины, освѣтивъ для молодежи, уставшей отъ нравственныхъ шатаній и всякаго рода недоумѣній, вѣрный, честный и полезный путь. Я самъ принадлежу къ поколѣнію молодому, только-что вступившему въ жизнь, я весь дышу его интересами и хорошо знаю, какъ темно и смутно живется ему въ наше время, какъ надоѣли ему праздныя слова, какъ горячо чувствуетъ оно свое святое право любить родину и трудиться для нея и не знаетъ, гдѣ найти такое дѣло, которое, *не требуя геройскихъ силъ и соотвѣтственнаго нравственнаго закала*, пришлось-бы по плечу всей массѣ. Мнѣ кажется, книга Кавелина дастъ непремѣнный толчекъ рѣшенію вопроса о нравственности, а, слѣдовательно, и о нравственной *дѣятельности*, и, такимъ образомъ, хоть часть роковыхъ недоумѣній молодежи будетъ разъяснена и разсѣяна.

Г-нъ В. В. относится къ теоріи нравственности, предлагаемой Кавелинымъ, отрицательно. Различіе взглядовъ обоихъ авторовъ коренится въ самомъ

опредѣленіи понятія нравственности. Кавелинъ утверждаетъ, что всякій сознательный поступокъ человѣка состоитъ изъ двухъ элементовъ: изъ душевнаго движенія, вызвавшаго поступокъ, и проявленія этого движенія. Первый элементъ Кавелинъ называетъ «поступкомъ внутреннимъ», второй—«поступкомъ внѣшнимъ». Поступки внутренніе онъ считаетъ подлежащими разсмотрѣнію этики и суду нравственности, поступки-же внѣшніе относитъ къ области права и къ вѣдѣнію суда, какъ понятія юридическаго. Г-нъ В. В. считаетъ такое дѣленіе произвольнымъ и неправильнымъ. Онъ тоже признаетъ, что области права и этики различны, но утверждаетъ, что онѣ не дополняютъ одна другую, а просто разсматриваютъ одно и то-же недѣлимое цѣлое съ разныхъ точекъ зрѣнія. Такъ, домохозяинъ и художникъ, смотря на одну и ту-же картину горящаго дома, относятся къ этому явленію каждый по-своему: первый высчитываетъ свои убытки, второй наблюдаетъ художественный эффектъ. Если юристъ считаетъ необходимымъ для постановки рѣшенія не ограничиваться однимъ только разсмотрѣніемъ внѣшняго поступка, но изслѣдываетъ и мотивы, его вызвавшіе, то и моралистъ въ правѣ поступать аналогично, не ограничиваясь одними мотивами, но разсматривая и самый поступокъ, тѣмъ болѣе, что двѣ эти стороны предмета, по мнѣнію г-на В. В., неотдѣлимы одна отъ другой, и только для болѣе тщательнаго, частичнаго изслѣдованія могутъ быть вре-

менно разложены,—подъ *непремѣннымъ условіемъ*, что при выводѣ общаго заключенія этика будетъ имѣть дѣло опять-таки съ *цѣлымъ*, будетъ толковать о его законахъ, а не о законахъ *части*. Г-нъ В. В. утверждаетъ это на томъ основаніи, что, по его мнѣнію, нравственная дѣятельность отличается отъ другихъ сторонъ психической жизни человѣка, напр., отъ дѣятельности умственной или эстетической, именно тѣмъ, что она влечетъ за собою *обязательное* проявленіе во-внѣ своихъ внутреннихъ поступковъ, образуя изъ мотива и этого проявленія одно цѣлое. Нравственный человѣкъ безъ всякихъ видимыхъ нравственныхъ отношеній къ обществу—немыслимъ, такъ какъ внѣ общественной жизни нѣтъ ни нравственнаго, ни безнравственнаго.

Упустивъ изъ виду въ психологическомъ изслѣдованіи вопроса о нравственномъ этотъ необходимый элементъ его *обязательности*, — упустивъ его по той причинѣ, что обязательными могутъ быть только внѣшніе поступки человѣка, совершенно исключенные Кавелинымъ изъ своей системы, а не душевныя движенія, не подлежащія власти человѣка,—Кавелинъ, какъ утверждаетъ г-нъ В. В., построилъ невѣрно и самую систему нравственности. По мнѣнію Кавелина, слѣдуетъ считать нравственнымъ того человѣка, который подчиняетъ свои душевныя движенія извѣстному субъективному идеалу. Г-нъ В. В. совершенно основательно замѣчаетъ, что этого еще недостаточно: идеалъ, руководящій душевными мо-

тивами человѣка, долженъ быть идеаломъ *обязательнымъ*, т. е. такимъ, за уклоненіе отъ котораго человѣка карала-бы еще *совѣсть*—дѣятельное сознаніе этого идеала. Честолюбецъ можетъ поставить для себя субъективнымъ идеаломъ высокое положеніе и власть;—но если онъ въ жизни отступитъ отъ этого идеала, пожалѣвъ, напримѣръ, честнаго бѣдняка, ставшаго ему поперекъ дороги, совѣсть упрекать его за это не будетъ, — наоборотъ. Слѣдовательно, свой субъективный идеалъ онъ считаетъ для себя *необязательнымъ*.

Итакъ, съ точки зрѣнія Кавелина, человѣкъ, завѣдомо-безнравственный (какъ, напр., честолюбецъ подчиняющій свои душевныя движенія субъективному идеалу власти), долженъ быть признанъ нравственнымъ. Съ другой стороны, отвергая въ нравственномъ смыслѣ внѣшній поступокъ, Кавелинъ часто можетъ назвать человѣка нравственнаго—безнравственнымъ. «Ну, а если я отъ природы надѣленъ множествомъ недостатковъ,»—спрашиваетъ г. В. В.: — «если я золъ, нетерпѣливъ, гордъ, фальшивъ, но у меня сильно развито нравственное чувство, — напр., сознаніе права остальныхъ людей на извѣстное къ нимъ отношеніе, подъ вліяніемъ котораго я составилъ себѣ идеалъ человѣка, дѣйствующаго наперекоръ всѣмъ этимъ недостаткамъ? Если всякое столкновеніе съ дѣйствительностью возбуждаетъ въ моей душѣ то или другое низкое стремленіе, но я его съ успѣхомъ побѣждаю; если я, чувствуя недостой-

нымъ образомъ, поступаю совершенно,—неужели я человѣкъ безнравственный?» Приложивъ къ данному случаю кодексъ, рекомендуемый Кавелинымъ, и устранивъ совершенно внѣшній поступокъ, какъ чуждый, по его мнѣнію, области этики, — придется одновременно отвѣтить на вопросъ, поставленный г-номъ В. В., и утвердительно, и отрицательно: съ одной стороны, человѣкъ, взятый г-нъ В. В., обладаетъ низкими и порочными душевными движеніями — значитъ, онъ человѣкъ безнравственный; съ другой стороны, каждому его хорошему поступку предшествуютъ колебанія и внутренняя борьба, причемъ онъ подчиняетъ свои душевныя движенія извѣстному субъективному идеалу — значитъ, онъ человѣкъ нравственный. Возможность такихъ противорѣчій совершенно устранится, если взять за мѣрило нравственности человѣка не его душевныя движенія, а внѣшнія ихъ проявленія, т. е. выйти изъ замкнутаго круга личной жизни и дѣятельности человѣка на болѣе широкую арену жизни и дѣятельности общественной.

Если позволительно и мнѣ, профану, высказать въ данномъ случаѣ мое мнѣніе, я, глубоко симпатизируя въ общемъ взглядамъ г-на В. В., замѣчу однако, что и его система возбуждаетъ нѣкоторыя недоумѣнія. Суди человѣка по его душевнымъ побужденіямъ, говоритъ Кавелинъ. Суди человѣка по его дѣламъ, говоритъ г. В. В., и поясняетъ: «это значитъ, *что лишь тѣ внутренніе поступки* че-

ловѣка могутъ быть принимаемы для оцѣнки его нравственнаго содержанія, *которые сопровождались соотвѣтствующими внѣшними дѣйствіями*». Читатель видѣлъ уже, къ какимъ неправильнымъ и противорѣчивымъ сужденіямъ можетъ повести основное мѣрило Кавелина. Но и г-нъ В. В., по моему, тоже нѣсколько съуживаетъ область нравственности, ея *подсудность*, если можно такъ выразиться. Онъ беретъ человѣка, чувствующаго недостойно, но поступающаго совершенно,—я возьму такого, который и чувствуетъ, и поступаетъ совершенно. Если принять критерій Кавелина, перваго изъ нихъ слѣдуетъ признать безусловно безнравственнымъ, втораго—безусловно нравственнымъ. Это, очевидно, несправедливо. Если взять критерій г-на В. В., оба будутъ *одинаково нравственны*. Это тоже несправедливо, или, вѣрнѣе, неточно. Возьму другой примѣръ. Я заблудился ночью по дорогѣ, зашелъ въ чей-то домъ, стоящій въ глухомъ и уединенномъ мѣстѣ, и, убѣдившись, что дома остался одинъ только дряхлый старикъ-слуга, задумалъ убить его и ограбить жилище. Но онъ такъ радушно усадилъ меня къ огню, такъ заботливо сталъ угощать меня, что низкое движеніе души смѣнилось раскаяніемъ и благодарностью, и, уходя, я оставилъ ему еще денегъ. Г-нъ В. В. предлагаетъ судить меня—или, вѣрнѣе, *предлагаетъ мнѣ судить себя*, по моему внѣшнему поступку. Съ этой точки зрѣнія я окажусь чистъ и правъ, какъ голубь; что-же касается до моего

перваго душевнаго движенія, г-нъ В. В. считаетъ его *«ненастоящимъ»*, *«несерьезнымъ»*. Я позволю себѣ спросить его, куда-же дѣться, однако, моралисту съ этимъ «ненастоящимъ», но несомнѣнно существовавшимъ и *несомнѣнно безнравственнымъ* душевнымъ движеніемъ? Мнѣ кажется, если я предлагаю признать подлежащими суду нравственности не только внѣшніе поступки, но и душевныя движенія человѣка,—такъ какъ иногда они могутъ и не выразиться во-внѣ—я этимъ самымъ нисколько не ставлю вопросъ о нравственномъ на почву замкнутую и личную и не лишаю его общественной подкладки, на которой настаиваетъ г. В. В. Дурное намѣреніе—точно такой-же грѣхъ противъ общества, какъ и дурное дѣло. Впрочемъ, я повторяю, что высказываю мое заключеніе не какъ критикъ, а какъ живо-заинтересованный его статьей читатель и притомъ совершенный профанъ въ области вопросовъ, затрогиваемыхъ г-мъ В. В.

Какіе выводы вытекаютъ изъ поправокъ, вносимыхъ г-мъ В. В. въ ученіе о нравственности Кавелина,—ясно каждому. Для человѣка, по мнѣнію г-на В. В., является обязательнымъ уже не одно личное самосовершенствованіе an und für sich, но и, главнымъ образомъ, *нравственная* общественная жизнь, т. е. проявленіе во-внѣ своего нравственнаго кодекса. По мнѣнію Кавелина, человѣкъ, не вмѣшивающійся въ борьбу съ существующимъ зломъ, но и самъ этому злу не служащій, поступаетъ

нравственно; по взглядамъ г. В. В.—безнравственно. Г. В. В. справедливо замѣчаетъ въ концѣ своей статьи, что, проповѣдуя личную, замкнутую нравственность, этика Кавелина является научнымъ прообразомъ того ученія о непротивленіи злу, какое графъ Левъ Толстой предлагаетъ теперь русской интеллигенціи въ болѣе доступной для массы догматической формѣ. Такимъ образомъ, всѣ теоретическія возраженія, которыя дѣлаетъ г. В. В. Кавелину, могутъ быть цѣликомъ отнесены и къ ученію графа Толстаго. По отношенію къ личности послѣдняго, выводы г. В. В. интересны еще и тѣмъ, что они налагаютъ на графа Толстаго обязанность самому безусловно слѣдовать въ жизни тому, что̀ онъ проповѣдуетъ въ теоріи. Такъ ли поступаетъ на самомъ дѣлѣ графъ Толстой? На этотъ вопросъ отвѣчаетъ намъ г. Н. М. въ другой интересной и живой статьѣ «Сѣвернаго Вѣстника», озаглавленной «*Дневникъ читателя*».

Горячая и сильная статья эта распадается на двѣ части: дѣятельности графа Толстаго посвящена вторая часть,—въ первой-же авторъ касается опять-таки «Задачъ этики», Кавелина. Проводя параллель между его ученіемъ и ученіемъ одного американскаго изслѣдователя этого вопроса, Сальтера, г. Н. М. доказываетъ, что этика послѣдняго гораздо болѣе приложима къ жизни, чѣмъ этика Кавелина. Авторъ опровергаетъ этимъ высказанное Кавелинымъ мнѣніе, что въ Европѣ смотрятъ на этику, какъ на

отвлеченную науку, а у насъ—какъ на обязательный для жизни кодексъ. Не останавливаюсь подробно на доводахъ г. Н. М., такъ какъ, сравнительно со статьей г. В. В., они являются только разборомъ частныхъ вопросовъ, хотя и не лишенными значенія,—я перехожу прямо ко второй части «Дневника», посвященнаго дѣятельности графа Толстаго. По мнѣнію г. Н. М., она возбуждаетъ въ каждомъ мыслящемъ человѣкѣ массу недоумѣній. Г. Н. М. пожелалъ пріобрѣсти себѣ XII томъ сочиненій графа, имѣя уже предшествовавшее ихъ изданіе. Оказалось, что послѣдній томъ отдѣльно не продается и что г-ну Н. М. пришлось заплатить 17 р., т. е. купить все изданіе, чтобы пріобрѣсти и этотъ томъ. Указывая на то, что произведенія другихъ нашихъ писателей (Достоевскаго, Полонскаго, Успенскаго) продаются по томамъ, г. Н. М. недоумѣваетъ, за что̀ графъ Толстой, проповѣдникъ высокой нравственности вообще и презрѣнія къ деньгамъ въ частности, облагаетъ своихъ читателей такимъ огромнымъ налогомъ? Г. Н. М. отлично сознаетъ, что его вопросъ щекотливъ, но онъ рѣшается предложить его вслухъ, такъ какъ графъ Толстой и самъ во всеуслышаніе говоритъ о себѣ и другихъ допускаетъ это дѣлать печатно, въ разсказахъ о томъ, какъ онъ живетъ, какъ думаетъ, какъ сапоги шьетъ и дрова рубитъ. Приводя затѣмъ изъ XII-го тома нѣсколько строкъ изъ «Исповѣди», въ которыхъ графъ Толстой признаетъ зломъ и ложью свою

прежнюю литературную дѣятельность, г-нъ Н. М. вполнѣ основательно спрашиваетъ, зачѣмъ-же въ такомъ случаѣ графъ выпустилъ новое изданіе своихъ произведеній, да еще и беретъ за нихъ такъ дорого? Ложь и зло не слѣдуетъ распространять и даромъ—тѣмъ болѣе за деньги. Въ томъ-же мѣстѣ «Исповѣди» графъ скорбитъ, что получалъ нѣкогда много одобреній «отъ людей царствующаго ученія». Онъ получаетъ эти одобренія и теперь,—но какая странность! Газеты, восхваляющія его, какъ пророка и учителя, въ то-же время и не думаютъ активно пристать къ его дѣятельности и прекратить свою, совершенно имъ отрицаемую, и, умиляясь духомъ, когда графъ Толстой называетъ хореографію—грязнымъ и дурнымъ дѣломъ, циничной пляской обнаженныхъ женщинъ,—въ то-же время стараются быть сами au courant всѣхъ новостей этого дѣла и рекомендуютъ своимъ читателямъ разныя его пикантныя тонкости. «Самсонъ,—говоритъ г-нъ Н. М.,—пытается потрясти своды храма и обрушить ихъ на головы филистимлянъ,—а филистимляне, продолжая служить Дагону и Астароту, не бранятъ, не гонятъ его, а даже похваливаютъ: «молодецъ, Самсонъ!» Должно быть, не страшна имъ мощь Самсона; должно быть, они увѣрены, что не расшатать ему колоннъ.» Еще одна необъяснимая черта въ славѣ графа Толстаго: поклонники его, какъ пророка и учителя, въ то-же время поклоняются ему, какъ и великому ходожнику, совершенно не обращая вниманія на то, что про-

рокъ-Толстой отрицаетъ Толстаго-беллетриста. «И за плюсъ слава», говоритъ г. Н. М.—«и за минусъ—слава, и плюсъ на минусъ не сокращаются, а вопреки всякой логикѣ и ариѳметикѣ, выходятъ двѣ славы!»... Продолжая далѣе сравненіе Толстаго съ Самсономъ, г-нъ Н. М. замѣчаетъ, что Самсонъ самъ погибъ подъ развалинами обрушеннаго имъ храма. Такъ-ли поступаетъ гр. Толстой? Въ своей «Исповѣди» онъ кается во многихъ, ужасныхъ съ перваго взгляда, преступленіяхъ: «я убивалъ людей»—говоритъ онъ (понимай: *«я былъ на войнѣ»*),—«я владѣлъ себѣ подобными» (понимай: *я былъ помѣщикомъ во время крѣпостнаго права)*. Однако, ни за одно такое дѣяніе, какъ извѣстно, наша общественная нравственность не караетъ; за нѣкоторыя, какъ, напр., за военную храбрость, она даже награждаетъ. Гдѣ же тутъ искреннее смиреніе, искреннее покаяніе? Вся призрачность ихъ встаетъ особенно ярко, если сравнить «Исповѣдь» графа Толстаго съ «Посмертными записками» Пирогова, въ которыхъ маститый ученый чистосердечно разсказываетъ, какъ онъ однажды укралъ нѣсколько кусковъ сахару у своего товарища-студента. Г-нъ Н. М. совершенно справедливо замѣчаетъ, что въ такомъ мелкомъ поступкѣ гораздо труднѣе сознаться,—именно потому, что онъ *мелокъ*, чѣмъ въ грандіозномъ и вовсе не унизительномъ въ глазахъ общества фактѣ убійства людей на войнѣ. Еще фактъ. У графа Толстаго есть сказка «Два старика», въ которой повѣствуется, какъ одинъ изъ этихъ

стариковъ, совершивъ великодушный поступокъ, употреблялъ всѣ усилія, чтобы никто никогда не узналъ объ этомъ. «Вотъ какъ надо поступать»,— учитъ графъ Толстой,—и между тѣмъ слава его гремитъ по всему свѣту, и самъ онъ въ одной изъ своихъ статей выражается, напр., такимъ образомъ: «*Всѣ ученые проглядѣли* бездоказательность выводовъ Мальтуса»,—всѣ, кромѣ его, графа Толстаго, сразу открывшаго эту Америку. Нельзя не признать, что послѣ такого факта графа Толстаго было-бы странно упрекать въ излишнемъ смиреніи.

Есть еще одна крайне характерная сторона въ дѣятельности графа Толстаго: это ея разсудочность, непроизводительность. Въ своихъ статьяхъ, вызванныхъ московской переписью, онъ разсказываетъ, какъ однажды онъ не зналъ, кому отдать оставшіеся у него на рукахъ 17 руб., не смотря на то, что жизнь вокругъ него кишѣла самой вопіющей нищетой. Долго искалъ онъ достойнаго. Этотъ—скверно бранился, та—пьянствовала, третья—гуляла»—и т. д. Съ трудомъ рѣшилъ онъ свой замысловатый вопросъ. Очевидно, что дѣло было не въ томъ, чтобы помочь голодному человѣку, заткнуть просящій хлѣба ротъ,—а въ немъ самомъ, графѣ Львѣ Николаевичѣ Толстомъ, въ его удивительнѣйшей справедливости. Человѣкъ сердца не сталъ-бы долго раздумывать въ подобномъ случаѣ. Не менѣе ярко та-же черта выразилась и въ отношеніи графа Толстаго къ женскому вопросу. Въ то время, когда

друзья и поборники женскаго образованія почти отчаяваются воскресить трупъ его,—графъ Толстой считаетъ умѣстнымъ выступить противъ него съ своей принципіальной статьей «Женщинамъ», считаетъ возможнымъ дать и отъ себя пинка этому трупу. Очевидно, что вопросъ объ образованіи женщинъ стоитъ тутъ на второмъ планѣ, такъ какъ ломиться въ открытую дверь не представляется никакой необходимости, а важно опять-таки то, что думаетъ объ этомъ предметѣ онъ, графъ Толстой. Вотъ главнѣйшія мысли, проводимыя г-омъ Н. М. въ его статьѣ. Я убѣжденъ, что заинтересованный читатель самъ познакомится съ нею, а теперь мнѣ необходимо сказать еще два слова о третьемъ жизненномъ и интересномъ произведеніи, помѣщенномъ въ-той-же книжкѣ и тоже связанномъ, по своему содержанію, съ двумя только что разобранными,—объ изслѣдованіи В. В. Лесевича: «*Буддійскій нравственный типъ*».

Г-нъ В. В., разбирая ученіе Кавелина и указывая на его аналогичность съ ученіемъ графа Толстаго, тѣмъ самымъ коснулся своей критикой и пресловутаго догмата «о непротивленіи злу». Г-нъ Н. М. разобралъ дѣятельность графа Толстаго съ практической точки зрѣнія,—г-нъ Лесевичъ переноситъ вопросъ на почву философско-историческую. Указывая на связь его изслѣдованія съ первыми двумя статьями, я вовсе не хочу лишить трудъ г-на Лесевича того серьезнаго, самостоятельнаго, науч-

наго значенія, которое онъ имѣетъ; я только подчеркиваю общую связность и стройность содержанія книжки, дружность усилій редакціи. Со свойственной ему эрудиціей г-нъ Лесевичъ доказываетъ, что догматъ о непротивленіи злу вовсе не новъ, что онъ существовалъ около XXV вѣковъ тому назадъ, составляя одинъ изъ главнѣйшихъ элементовъ индусской этики. Какъ ни странно на первый взглядъ такое воскресеніе воззрѣній, давно уже умершихъ, наука доказываетъ, что подобнаго рода факты нерѣдки въ жизни. Въ мірѣ біологическомъ они извѣстны подъ именемъ атавизма, въ мірѣ антропологическомъ англійскій ученый Тейлоръ присвоилъ имъ терминъ «оживаній» («revivals»). Г-нъ Лесевичъ начинаетъ съ того, что изслѣдуетъ религіозную почву, подготовившую успѣхъ буддизму, отмѣчая особенно тотъ психологическій моментъ, когда мистическая работа мысли древняго брамана дошла до понятія о сути всѣхъ вещей, «*объ ихъ сокѣ*», и воплотила его въ божественной личности Атманъ-брамы,—въ сравненіи съ абсолютной неизмѣнностью и всеобъемлемостью котораго человѣческая жизнь, какъ юдоль явленій, вѣчно измѣнчивыхъ и несовершенныхъ, стала казаться зломъ и страданіемъ. Такой пессимизмъ индусовъ особенно обострился ученіемъ о переселеніи души, осуждавшимъ ее на вѣчныя скитанія въ этомъ мірѣ зла, лжи и страданій. Будда, обѣщающій своимъ ученіемъ пре-

кращеніе этихъ скитаній, полное забвеніе, нирвану, явился, очевидно, спасителемъ въ глазахъ индусовъ. Иллюстрируя далѣе свое изслѣдованіе древними легендами, изъ которыхъ нѣкоторыя очень художественны и по формѣ, и по содержанію, г-нъ Лесевичъ тщательно разбираетъ черту за чертой, изъ которыхъ слагается буддійскій нравственный типъ, и объясняетъ значеніе нѣкоторыхъ изъ этихъ чертъ. Между прочимъ, онъ убѣдительно подчеркиваетъ характеръ противообщественности, общій и буддійской этикѣ, и явленіямъ патологическимъ и находитъ родство между тѣми и другими, выражаемое внѣшнимъ образомъ въ галлюцинаціяхъ и псевдо-галлюцинаціяхъ. Очень любопытнымъ показалось намъ также то мѣсто изслѣдованія, гдѣ, говоря о поправкѣ, внесенной Буддой въ законъ о переселеніи душъ,—по которой переселяется собственно не душа покойнаго, а сила его заслугъ и достоинствъ,—нѣчто, близко подходящее къ понятію о характерѣ, — г-нъ Лесевичъ видитъ въ этомъ ученіи намекъ на законъ о наслѣдственности, играющій такую значительную роль въ современной наукѣ. Задавшись далѣе цѣлью показать, какое вліяніе имѣлъ буддизмъ, какъ этическій кодексъ, на практическую жизнь, г. Лесевичъ останавливается на китайцахъ и, сопоставляя отзывы объ ихъ бытѣ, заимствованные у извѣстныхъ знатоковъ страны, приходитъ къ выводамъ самымъ отрицательнымъ.

Сожалѣю, что недостатокъ мѣста не позволяетъ мнѣ остановиться дольше на его статьѣ и выяснить подробнѣе его взгляды. Беллетристику «Сѣвернаго Вѣстника» отлагаю до слѣдующаго фельетона.

VII.

(Повѣсть г-на Златовратскаго «Труженики».—Романъ г. Мачтета «Изъ невозвратнаго прошлаго»).

Прошлый разъ я познакомилъ читателя съ такъ называемыми серьезными статьями «Сѣвернаго Вѣстника»;—сегодня предполагаю заняться его беллетристикой. Въ майской книжкѣ ей отведено немного мѣста: мы находимъ въ ней только небольшой очеркъ г. Златовратскаго: «Труженики» и окончаніе романа г. Мачтета: «Изъ невозвратнаго прошлаго».

Въ послѣднее время, съ легкой руки Глѣба Успенскаго, у нашихъ «народниковъ» вошло въ обыкновеніе передавать рѣчь дѣйствующихъ лицъ, выводимыхъ ими, со всѣми ея характеристическими свойствами и особенностями. Глѣбъ Успенскій достигъ виртуозности въ пользованіи этимъ пріемомъ: вспомните его крестьянъ, приказчиковъ, купцовъ, фельдшеровъ и массу другаго, рабочаго и празднаго, сѣраго и несѣраго люда: — рѣчь этихъ дѣйствующихъ лицъ такъ мѣтка и колоритна, отличается

такою образностью и яркостью красокъ, что къ нимъ вполнѣ можно примѣнить выраженіе Бюффона: «стиль—это человѣкъ». Но писатели съ менѣе сильнымъ талантомъ, заимствовавшіе у Гл. Успенскаго этотъ пріемъ, не всегда могутъ похвалиться умѣлымъ примѣненіемъ его. Къ числу таковыхъ я отношу и г. Златовратскаго. Возьмите его послѣдній очеркъ: въ немъ, благодаря туманному языку, которымъ говорятъ его дѣйствующія лица, нѣтъ возможности добраться до сути его очерка или даже понять фабулу.

Начинаетъ г. Златовратскій свой разсказъ полулирическимъ вступленіемъ: онъ вспоминаетъ о своемъ дѣтствѣ, о томъ, какъ маленькимъ ребенкомъ гостилъ онъ у своего дѣда-священника. Страницы, посвященныя этимъ воспоминаніямъ, дышатъ той мягкой, грустной, туманной, но задушевной поэзіей, которая составляетъ одну изъ самыхъ сильныхъ сторонъ симпатическаго дарованія нашего автора. Но вотъ выдвигаются на сцену дѣйствующія лица: самъ дѣдушка, дьячекъ Поликарпычъ, дьяконъ, пономарь, просфирня,—и для читателя начинается цѣлый рядъ неразрѣшимыхъ недоумѣній. Герои г-на Златовратскаго волнуются какими-то опасеніями и скорбями,—но точный смыслъ всего этого не выясняется читателю изъ несвязныхъ бесѣдъ ихъ. Знакомясь въ этомъ разсказѣ съ ограниченнымъ кругомъ интересовъ, волнующихъ описываемый имъ церковный причтъ безконечнымъ рядомъ опасеній, треволненій и непріятностей, читатель догадывается,

что причиною всему этому служатъ раскольники, заблудшія овцы, отщепившіяся отъ православія, но изъ-за чего всѣ эти треволненія, въ чемъ ихъ сущность—Ты, Господи, вѣси! Чтобы слова мои не показались бездоказательными, сдѣлаю небольшую выписку. Дьячекъ Поликарпычъ разсказываетъ дѣду и причту о какихъ-то новыхъ сектантахъ. Вотъ какимъ образомъ она выражается: «Ужъ это—вѣрнѣе смерти!... Идутъ, ѣдутъ—глядь пахнетъ... живьемъ... что такое?.. мелькаютъ... огоньки... Волки?... Куда тебѣ!... Огни настоящіе... Изба... старцы... Волосы щеткой... служба идетъ... Дѣвка... Наша Василиса, изъ Прудковъ!.. Она... корявая... она самая». (Пропускаю реплики дѣйствующихъ лицъ и продолжаю выписывать только слова Поликарпыча). «Изсохла... голосъ сталъ грубый... что у пьяницы... Ликъ Божій извратился.... Вдругъ одинъ старецъ, сухой... скрючило всего... Видно, сразу изъ солдатъ... Только оброс весь волосами, звѣрообразно... Всталъ, Василискѣ поклонился... Василиска ему... что-то проситъ... и всѣ прочіе просятъ... Тутъ старецъ стащилъ съ себя рубаху... спина исполосована... въ ранахъ... на плечахъ вериги пудовъ въ пять... Глядь—клеймо!... изъ-подъ волосъ-то клеймо!.. Всѣ ему въ ноги... потомъ завертѣлись-завертѣлись и закружились-закружились... вихремъ, вихремъ!.. Хвать... что такое?.. Гудитъ, будто... изъ-подъ земли... Бѣсы?... Анъ—щель изъ подполья... свѣтится... припали... Глядь: олово плавятъ... Монетчики... фаль-

шивые... Они самые!.. Васька Курьяковъ, самолично, прасолъ изъ Бычкова... въ красной рубахѣ... рукава засучены... глаза такъ коловоротомъ и ходятъ... вотъ только... мѣшаетъ... что такое?... Стонетъ!.. Тихонько — ровно пташка, стонетъ, сто-о-нетъ... Припадай, говорятъ, ребята — ухомъ къ землѣ!... Хвать, анъ это митюшкинаго сынишки голосокъ-то... Ну, вонъ того, что не дали крестить-то... Годовъ пять тому... у Митюшки хвораго, въ Крестахъ... что еще невѣстку увели... такъ и пропала!.. Самый этотъ... и стонетъ, стонетъ, сто-о-онетъ... Значитъ, ангельская-то душонька по христіанскому-то таинству тоскуетъ!.. Вотъ и стонетъ, и стонетъ»...

Я не говорю ужъ о томъ, что читателю крайне утомительно слѣдить за мыслью автора, такъ безсвязно выраженною; — но я просто не понимаю, о чемъ идетъ рѣчь въ этомъ отрывкѣ... Съ одной стороны, Поликарпычъ разсказывалъ какъ будто о раскольничьемъ служеніи, потомъ выдвигаются на сцену фальшивые монетчики и, наконецъ, *кто-то куда-то* припадаетъ ухомъ и слышитъ, что стонетъ душа какого-то митюшкинскаго младенца... Что это такое? — И, вообразите, такимъ образомъ написанъ весь очеркъ: дѣдъ почему-то долженъ спасаться изъ села бѣгствомъ, заставляя автора сдѣлать крайне странный скачекъ, при которомъ и дѣдъ, и весь причтъ совсѣмъ исчезаютъ со сцены, а на смѣну имъ является нѣкій Марко Терентьевичъ — глава самой-то раскольничьей секты

—и цѣлая масса разнаго пестраго люда, ждущаго отъ этого Марка Терентьевича утѣшенія въ своихъ скорбяхъ и исцѣленія отъ духовныхъ немощей. Новыя дѣйствующія лица продолжаютъ говоритъ такимъже безсвязнымъ манеромъ, какъ и сошедшій со сцены Поликарпычъ. Читатель переворачиваетъ страницу за страницей, въ тщетной надеждѣ, что когда-нибудь да разъяснится-же все это хитросплетеніе,—и внезапно натыкается на подпись «Н. Златовратскій», краснорѣчиво свидѣтельствующую о томъ, что очерку конецъ и что никакихъ дальнѣйшихъ разъясненій ожидать не надлежитъ. Не стану спорить,—быть можетъ, знатокамъ раскола и будутъ понятны эти намеки на «что-то», разсыпанные авторомъ въ его разсказѣ; но для обыкновеннаго читателя содержаніе разсказа остается загадкой. Неумѣлость типическаго воспроизведенія народной рѣчи служитъ тому немалою причиной. Этимъ я отнюдь не хочу сказать, что г. Златовратскій придумываетъ слова;—напротивъ, я почти увѣренъ, что всѣ употребляемыя имъ фразы дѣйствительно подслушаны у «народа», но думаю, что онѣ подслушаны отъ разныхъ лицъ и въ разное время, а теперь прихотливо сведены авторомъ въ одну нестройную кучу.

И въ самомъ тонѣ разсказа чувствуется какая-то странная, почти болѣзненная напряженность, точно авторъ хотѣлъ передать что-то глубоко-волнующее его и не нашелъ достаточно яркихъ для этого словъ. Какъ это ни покажется страннымъ, но при

чтеніи «Тружениковъ» мнѣ невольно пришло на память одно мѣсто изъ поприщинскаго монолога:

«Вонъ небо клубится предо мною, звѣздочка сверкаетъ вдали; лѣсъ несется съ темными деревьями и мѣсяцемъ; сизый туманъ стелется подъ ногами; струна звенитъ въ туманѣ»...

Да, это дѣйствительно звенитъ какая-то мучительно-напряженная, готовая оборваться струна въ туманѣ чувствъ и мыслей, все болѣе и болѣе овладѣвающемъ творчествомъ г. Златовратскаго.

Послѣ тяжелаго впечатлѣнія, съ которымъ оставляешь неопредѣленный и страшный очеркъ г. Златовратскаго, какъ-то вдвойнѣ пріятно остановить свое неудовлетворенное вниманіе на интересныхъ, хотя не блещущихъ особенно яркимъ талантомъ, страницахъ произведенія г. Мачтета.

Романъ г-на Мачтета по своему типу принадлежитъ къ романамъ-эпопеямъ, захватывающимъ своимъ содержаніемъ исторію цѣлаго народа въ данную эпоху. Г-нъ Мачтетъ говоритъ о сельскомъ населеніи нашего юго-западнаго края и беретъ эпоху, предшествовавшую освобожденію крестьянъ. Я давно уже собирался познакомить читателя съ симпатичнымъ дарованіемъ г-на Мачтета и радъ, что мнѣ представился теперь удобный къ этому случай. Романъ задуманъ очень умно: для того, чтобы захватить въ романъ и шумную жизнь деревенскаго панскаго «палаццо», и скромное прозябаніе обитателей дымной крестьянской хаты, г-нъ

Мачтетъ ставитъ своего героя въ центръ панорамы, развертываемой имъ передъ читателемъ, дѣлаетъ его дворовымъ человѣкомъ, сохранившимъ, съ одной стороны, органическую связь съ деревней и являющимся, съ другой, зрителемъ и даже участникомъ радостей и горестей своихъ пановъ. Для того-же, чтобы этотъ герой, отъ лица котораго и ведется разсказъ, могъ болѣе или менѣе правильно судить о поступкахъ своихъ господъ, г-нъ Мачтетъ надѣляетъ его и нѣкоторымъ образованіемъ: маленькій Ясь имѣлъ счастье, въ бытность свою дворовымъ казачкомъ, понравиться прекрасной «пани», и она приказала учить его вмѣстѣ со своимъ сыномъ, Михасемъ, для возбужденія въ послѣднемъ соревнованія. Замѣчу къ большой чести автора, что въ романѣ его нигдѣ не проявляется узкой ненависти малоросса къ поляку, что онъ безпристрастно отмѣчаетъ хорошее и дурное и въ тѣхъ, и въ другихъ, и что, не смотря на скользкую въ этомъ отношеніи тему романа,—взаимныя отношенія деспотовъ-пановъ къ холопамъ-малороссамъ,—г-нъ Мачтетъ остался чуждъ уличному quasi-патріотизму и племенной нетерпимости.

Я не стану подробно пересказывать фабулу романа г-на Мачтета, такъ какъ не въ ней суть; читатель не въ правѣ требовать отъ нея, какъ отъ фабулы историческаго романа, ни строгаго единства, ни стройности частей; онъ не найдетъ этихъ двухъ качествъ даже и въ классическомъ романѣ «Война и Миръ,—

и это вполнѣ понятно: романистъ-историкъ беретъ наиболѣе яркія явленія эпохи, которую онъ иллюстрируетъ, не обращая вниманія на ихъ разрозненность, внѣшнюю несвязность, и поэтому ему часто приходится ставить своего героя въ самыя разнообразныя, самыя неожиданныя положенія. Главная цѣль—какъ можно болѣе расширить рамки личныхъ наблюденій и впечатлѣній своего героя, и поэтому случается, что въ такого рода романахъ одна какая-нибудь сцена является пришитой къ другой, какъ говорится, «бѣлыми нитками». Отъ степени дарованія автора зависитъ, чтобы эти «бѣлыя нитки» были не очень замѣтны. Г-нъ Мачтетъ довольно удачно справился съ этой задачей,—неизмѣримо удачнѣе гг. Всеволода Соловьева, Мордовцева, Шардина и другихъ, имъ подобныхъ, «историческихъ романистовъ»,—но и его романъ не чуждъ нѣкоторыхъ натяжекъ. Такъ напр., на семью его героя, Яся, обрушивается сразу черезъчуръ много несчастій, дерутся и душатъ другъ друга въ романѣ черезъ-чуръ часто, а самъ Ясь, изъ-за личной выгоды и холопскаго усердія предъ паномъ продающій свою семью, является мерзавцемъ слишкомъ «чистой воды», какихъ въ жизни врядъ-ли можно встрѣтить. За то фактическій матеріалъ романа,—внутреннее его содержаніе,—крайне богатъ и полонъ. Передъ читателемъ развертывается широкая картина взаимныхъ отношеній всемогущаго пана и его холоповъ, написанная очень живо и талантливо. Тяжелыя сцены смѣняютъ одна другую: вотъ

засѣкаютъ до смерти дядю героя, бросившагося съ коломъ на своего пана, чтобъ отомстить ему за самоубійство своей дочери, Олеси, которая предпочла добровольную смерть позорной долѣ панской наложницы; вотъ сдаютъ въ солдаты жениха другой дѣвушки, тоже имѣвшей несчастіе приглянуться пану; вотъ ярко написанная картина панскаго разгула, въ которомъ по-неволѣ принимаютъ участіе раздѣтыя до-нага деревенскія красавицы, исполняющія роли живыхъ статуй и красующіяся среди потоковъ разноцвѣтныхъ огней и моря цвѣтовъ на мраморныхъ пьедесталахъ. А вотъ и оборотная сторона медали,— зловѣщее зарево пожара, подбирающагося къ панскимъ хоромамъ, но благополучно потушеннаго— дѣло рукъ бѣднаго жениха, сданнаго въ солдаты; вотъ трупъ жестокаго приказчика Кондрата, убитаго безшабашнымъ Тарасомъ, братомъ героя; сцена ярмарки... Слѣпой «лирникъ» поетъ пѣсню о погибшей казацкой волѣ; кругомъ—горящіе ненавистью взгляды и понурыя головы; и вдругъ выдвигается впередъ какой-то смѣльчакъ: «Вотъ такъ рыцари были»,— рѣзко отчеканиваетъ онъ, быстро окинувъ взглядомъ толпу,—«не попыхачи панскіе!... А что, панове громадо, если-бы милосердый Богъ намъ и теперь послалъ такихъ?» Толпа волнуется... сочувственная, но мрачная улыбка облетаетъ всѣ лица. А смѣльчакъ не унимается. Каждое его слово, каждая выходка, направленныя противъ пановъ, вызываетъ

дружный и злобный смѣхъ. «Кто еси?» начальственно спрашиваетъ его тысяцкій.

— Кто я? — удивился незнакомецъ, сдвигая плечи:—Петро Сокира.

Тысяцкій опѣшилъ, толпа дрогнула. Петро Сокира былъ знаменитый въ уѣздѣ разбойникъ, ненавистникъ пановъ, одна изъ тѣхъ горячихъ головъ, которыя не умѣютъ ждать, спрятавшись въ свою нору, когда обстоятельства измѣнятъ ихъ тяжелую долю, а пытаются сами измѣнить обстоятельства. Все это написано горячо, поэтично, красиво...

Съ другой стороны, какъ я уже замѣтилъ выше, авторъ, относясь съ глубокой симпатіей къ угнетенному народу, не проходитъ молчаніемъ и того хорошаго, что̀ встрѣчаетъ онъ въ кругу пановъ. Вы видите въ немъ человѣка, который ненавидитъ не поляка, какъ представителя извѣстной національности, а деспота и самодура, независимо отъ того, къ какой-бы національности онъ ни принадлежалъ. Крайне симпатичной и тепло-обрисованной является въ романѣ личность «Михася», панскаго сына. Отецъ и мать его, занятые своими личными дѣлами,— дѣлами по преимуществу эротическаго свойства,—не обращали никакого вниманія на воспитаніе своего сына, всецѣло поручивъ его старику-французу Ратоплану, проживающему въ палаццо въ качествѣ гувернера. Типъ этого Ратоплана, добродушнѣйшаго и честнѣйшаго чудака, нѣсколько сентиментальнаго, принахивающаго нюхательнымъ табакомъ и лучшими

идеями французскихъ политическихъ дѣятелей XVIII вѣка, показался намъ очень жизненнымъ, очень выпуклымъ въ романѣ г-на Мачтета. И учитель, и воспитанникъ его, которому Ратопланъ привилъ свой гуманный взглядъ и въ сердце котораго онъ вложилъ ненависть ко всякому лицемѣрію и сдѣлкамъ со своею совѣстью, являются двумя наиболѣе свѣтлыми типами романа, хотя носятъ оба не народную сермягу, а европейское платье. Тихимъ и поэтичнымъ видѣніемъ проходитъ въ романѣ и личность первой, покойной жены пана, являющаяся только въ воспоминаніяхъ о ней «Михася». Но самъ панъ, самодурствующій, какъ говорится, «*во всю*», тщеславный, властный, сластолюбивый, жестокій, внушаетъ только ужасъ и отвращеніе. Сходныя чувства возбуждаетъ также и его вторая жена, хитрая, лицемѣрная, строгая Діана по наружности и разнузданная вакханка по натурѣ; я думаю, однако, что тотъ эпизодъ романа, въ которомъ эта гордая панна обольщаетъ своего крѣпостнаго холопа, Яся, нѣсколько рискованъ по формѣ.

Г-нъ Мачтетъ назвалъ свой романъ «Изъ невозвратнаго прошлаго». Да, къ счастію, это прошлое дѣйствительно невозвратно; только историкъ, романистъ, да читатели ихъ будутъ еще переживать тѣ тяжелыя впечатлѣнія, о которыхъ такъ правдиво разсказываетъ г-нъ Мачтетъ. Но двадцать пять лѣтъ съ достопамятнаго дня, многимъ милліонамъ людей возвратившаго ихъ человѣческое достоинство,—не

Богъ вѣсть какой срокъ! Ни слѣды прошлаго, ни воспоминанія о немъ, не изгладились еще изъ народной памяти. Часть текущаго лѣта я провелъ въ одномъ изъ богатыхъ имѣній Подольской губерніи. Старый барскій домъ этого имѣнія, сверху до-низу заплетенный густымъ виноградомъ, его огромная зала, его фамильные портреты, тускло и понуро глядящіе со стѣнъ,—все это еще живетъ и дышетъ недавнимъ прошлымъ. Отъ окрестныхъ помѣщиковъ мнѣ довелось услышать не мало разсказовъ объ этомъ прошломъ, иногда мрачныхъ и темныхъ, иногда любопытныхъ, главнымъ образомъ, съ психологической точки зрѣнія. Вотъ одинъ изъ нихъ, въ достовѣрности котораго я не имѣю повода сомнѣваться. Недалеко отъ того имѣнія, гдѣ я жилъ, находится село С—новки, рѣзко отличающееся своимъ наружнымъ видомъ отъ другихъ подольскихъ селъ, обыкновенно сбитыхъ въ кучу, безъ всякаго плана и порядка. Богатыя, большія хаты С—новки тянутся стройно и правильно въ два ряда, не убѣгая въ глубь вишневыхъ садиковъ, окружающихъ ихъ, и не выпячиваясь впередъ на солнцепекъ, къ пыльному краю дороги. За кустами зелени ярко горитъ золотой крестъ каменной церкви. Лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, села тутъ не было и помина; оно помѣщалось верстахъ въ пяти отъ теперешняго своего мѣстоположенія. Но вотъ что случилось: Однажды сынъ помѣщика Ор—скаго, юноша лѣтъ 15-ти, ѣхалъ куда-то въ гости. На-

встрѣчу ему попалась телѣга, въ которой, развалившись, лежалъ смуглый и коренастый семинаристъ, сынъ мѣстнаго священника. Молодой поповичъ,— не знаю, нечаянно или нарочно—не только не снялъ шапки предъ юнымъ панычемъ, но даже и не свернулъ передъ нимъ съ дороги. Тотъ вскипятился; началась перебранка, кончившаяся тѣмъ, что панычъ ударилъ семинариста кнутомъ, а послѣдній, вырвавъ кнутъ изъ его рукъ, отхлесталъ имъ самого паныча. Не знаю, чѣмъ разрѣшилась эта исторія и какъ вывернулся священникъ изъ затруднительнаго положенія, въ которое былъ поставленъ своевольствомъ сына, но окончательная развязка этого столкновенія разыгралась только значительно позже.

Помѣщикъ умеръ, оставивъ имѣніе своему сыну, Сев—ну Ор—скому, котораго мы встрѣтили раньше панычемъ. Умеръ и священникъ; на мѣсто его былъ назначенъ его сынъ. И вотъ между старыми врагами возгорѣлась жестокая война. Доносъ за доносомъ посылались на молодаго священника; послѣдній изъ этихъ доносовъ грозилъ ему потерей мѣста, и онъ вынужденъ былъ покинуть село и отправиться для разъясненія дѣла въ тотъ городъ, гдѣ жило его начальство. Разъясненія эти затянулись на долгое время. Возвратившись, онъ не нашелъ села на его прежнемъ мѣстѣ: предъ нимъ возвышалась одна церковь, да принадлежащія къ ней постройки причта, а вмѣсто деревни тянулось вокругъ однообразное, распаханное поле. За то въ пяти верстахъ отъ преж-

няго села стройно тянулись въ два ряда хаты деревни С—новки, словно выросшей изъ-подъ земли, и рабочіе неустанно трудились надъ возведеніемъ новаго каменнаго храма. Работали усиленно и спѣшно; церковь была скоро выстроена и освящена; въ нее пригласили новаго священника, а прежній остался ни при чемъ. Эпизодъ этотъ, записанный мною изъ устъ людей, хорошо знакомыхъ съ исторіей своего края, показываетъ, какъ нельзя лучше, что г-нъ Мачтетъ ничего не преувеличилъ въ романѣ, разсказывая о темныхъ сторонахъ «невозвратнаго прошлаго» нашей окраины.

Два слова о моихъ литературныхъ «пріятеляхъ»: Г-нъ Буренинъ на-дняхъ «разнесъ» меня въ пухъ и прахъ въ своемъ фельетонѣ, озаглавленномъ «Урокъ стихотворцу», взобравшись для того на коня науки, съ котораго, однако, къ вящщему своему посрамленію, былъ немедленно совлеченъ въ нашей газетѣ г-мъ Историкомъ культуры. Такимъ образомъ, возражать по существу на его фельетонъ я не имѣю никакой необходимости. Мнѣ хочется только заявить моимъ читателямъ, что сообщеніе г. Буренина о томъ, что я самъ послалъ ему свой фельетонъ, желая вымолить такимъ предупрежденіемъ его вниманіе — совершенно лживо. Я писалъ для моихъ читателей, а не для г-на Буренина; правда, послѣдняго я признаю нѣкоторой, хотя и очень небольшой силой, съ которой невольно при-

ходится иногда считаться. Вотъ почему я намѣренъ не разъ еще бесѣдовать въ своей хроникѣ *о г-нѣ Буренинѣ*, но *бесѣдовать* съ г-номъ Буренинымъ, а тѣмъ болѣе интересоваться его мнѣніемъ о моихъ работахъ—было-бы слишкомъ наивно съ моей стороны. Хотя я и «начинающій» (на что язвительно указываетъ г-нъ Буренинъ, считая молодость непростительнымъ порокомъ, должно быть за свойственныя ей честность и прямолинейность), но безполезность какихъ-либо споровъ съ г-нъ Буренинымъ и для меня совершенно ясна. Пусть себѣ язвитъ меня въ пяту—такое ужъ его провиденціальное назначеніе.

Не стану много распространяться и объ авторѣ «Белибердіады», посвященной редакціи «Зари» вообще, и мнѣ въ особенности. Бѣдный поэтъ! Онъ разсчитываетъ обратить на себя вниманіе публики скандальной перемѣной своихъ убѣжденій и озлобленными нападками на тѣхъ, кому онъ еще недавно надоѣдалъ своими восторгами. Зрядъ-ли ему удастся достигнуть этого: бездарность его равно сквозитъ и въ хвалебномъ гимнѣ, и въ грязномъ пасквилѣ.

VIII.

(Разсказъ г-на Боборыкина «Безвѣстная».—Повѣсть г-жи Кузьминской «Бѣшеный волкъ».—Стихотвореніе г-жи Чюминой).

Въ дѣтствѣ у меня была одна довольно извѣстная и распространенная игрушка: въ большомъ деревянномъ ящикѣ помѣщались узорно-выпиленныя пластинки дерева, съ наклеенными на нихъ частями картины. Задача играющаго состояла въ томъ, чтобы, сложивъ эти пластинки одну съ другой, получить, такимъ образомъ, всю картину. Помню,—со временемъ многія изъ этихъ составныхъ частей картины утерялись; осталась, напримѣръ, передняя половина бѣлой лошади и протянутая впередъ рука въ красномъ обшлагѣ, грозящая обнаженной саблей,—но ни того браваго ген рала, которому принадлежитъ эта рука, ни остальной части лошади нѣтъ; вотъ древко знамени и широко разставленныя ноги знаменщика,—но самое знамя, а также и голова героя—отсутствуютъ.

Мнѣ эта игрушка вспомнилась по поводу разсказа

г. Боборыкина: «Безвѣстная», оконченнаго въ іюньской книжкѣ «Вѣстника Европы». Авторъ то останавливаетъ вниманіе читателя на какой-нибудь подробности, не имѣющей, повидимому, никакого значенія въ общей концепціи разсказа, то совершенно умалчиваетъ о чемъ-нибудь важномъ и необходимомъ для связи картины, какъ будто тотъ деревянный кусочекъ, на которомъ изображено это важное, внезапно имъ утерянъ.

Фабула разсказа г-на Боборыкина не сложна: Проживаетъ въ Петербургѣ нѣкая бѣдная акушерка Марья Трофимовна Евсѣева; у нея есть пріемная дочь Маруся, обнаружившая талантъ къ музыкѣ и обладающая недурнымъ голосомъ. Два эти качества обратили на дѣвочку вниманіе благодѣтелей, взявшихъ ее къ себѣ, такъ какъ въ подвалѣ Марьи Трофимовны и сыро, и холодно, и голодно. Читателю становится также извѣстнымъ, что дѣвочка ходитъ въ гимназію и что платитъ за нее Марья Трофимовна; но что дѣлаетъ она кромѣ этого у благодѣтелей, каковы ихъ взаимныя отношенія, съ какимъ обществомъ сталкивается тамъ Маруся, учится-ли она пѣнію, или нѣтъ,—обо всемъ этомъ авторъ не говоритъ ни слова; эти части картины, какъ въ моей дѣтской игрушкѣ, для читателя утеряны. За то авторъ очень подробно разсказываетъ, какова была собою женщина, посланная однажды за Марьей Трофимовной съ извощичьяго двора (эпизодъ совершенно случайный и не имѣющій никакой

связи съ фабулой разсказа). «Марьѣ Трофимовнѣ понравилось»,—говоритъ онъ,—«рябоватое, круглое лицо, съ прядью черныхъ волосъ, выбившихся на самый носъ, широкій и смѣшной: «*одна ноздря была уже другой*» (стр. 130). Сообщаетъ онъ также и о томъ, какъ, отправляясь съ этой женщиной, Марья Трофимовна подошла къ вѣшалкѣ, гдѣ висѣли драповое пальто и шубка на кротовыхъ шкуркахъ, крытая сукномъ; Марья Трофимовна, однако, пальто оставила въ покоѣ, а надѣла шубку. Затѣмъ, неизвѣстно для чего, разсказывается нѣсколько эпизодовъ изъ медицинской практики Евсѣевой, и много еще разныхъ другихъ вещей, не менѣе безполезныхъ для читателя. Наконецъ, появляется на сцену и Маруся. Особа эта, «съ крупно-вырѣзанными глазами» и «круто-выворочеными губами», сразу заинтриговываетъ и свою пріемную мать, и читателя: «Ахъ, мамаша»,—говоритъ она,—«вы и вообразить себѣ не можете, какая штука устраивается». Затѣмъ, на протяженіи шести страницъ, Марья Трофимовна все спрашиваетъ у Маруси: «въ чемъ дѣло», а она ѣстъ лѣнивыя щи и отвѣчаетъ самымъ уклончивымъ образомъ, должно быть, въ видахъ вящщаго возбужденія интереса въ читателѣ. Но такъ какъ все на свѣтѣ имѣетъ конецъ, то разъясняется и загадка, на которую намекаетъ Маруся: оказывается, что какой-то актеръ, «баритонъ, но въ родѣ, какъ теноръ», встрѣтившись съ ней неизвѣстно гдѣ и неизвѣстно при какихъ об-

стоятельствахъ, предложилъ ей ангажементъ въ Москву. Гимназія оставляется и дѣвушка уѣзжаетъ, хотя не безъ сопротивленія со стороны пріемной матери. Въ спорѣ этомъ и Марья Трофимовна, и авторъ ведутъ себя такъ странно, что я хочу разсказать объ этомъ нѣсколько подробнѣе.

Узнавъ объ ангажементѣ, Марья Трофимовна приходитъ въ ужасъ: Какъ? бросать гимназію, ѣхать неизвѣстно съ кѣмъ, неизвѣстно на что?... «Довольно контѣть», рѣзко отвѣчаетъ Маруся... «Въ звукахъ голоса ея было что-то совсѣмъ новое»,—замѣчаетъ въ концѣ этой сцены авторъ:—«такъ прежде она не говорила. *Тутъ мужчина, любовное влеченіе*»... Какъ вамъ нравится, читатель, такая проницательность: дочь говоритъ «довольно контѣть», а мать въ «звукахъ ея голоса» подмѣтила сейчасъ-же «мужчину, любовное влеченіе»? И мало того, что подмѣтила, но побѣжала слѣдить за дочерью, когда та ушла, причемъ, хотя и не нагнала Маруси, но домой не вернулась: «авось гдѣ нибудь попадется». Увлекаемая все дальше и дальше своей проницательностью, она тверда рѣшила, что Маруся отправилась на свиданіе съ своимъ баритономъ. Но Петербургъ великъ—гдѣ искать заблудшую дѣвочку? «*И вотъ*», разказываетъ авторъ: «*когда она уже хотѣла тащиться (!) къ себѣ, ей точно въ голову что ударило, вмѣстѣ съ мыслью «на Михайловской улицѣ, около магазина гуттаперчевыхъ издѣлій*». *Почему около этого магазина? Она*

вспомнила, что онъ называется« Макинтошъ. Да, Макинтошъ (?). Это слово повело за собой и другую подробность. Кто-то не такъ давно разказывалъ ей (о чемъ?), кажется, какая-то паціентка признавалась ей въ своемъ «грѣхѣ». И «душенька» вызвалъ ее въ первый разъ къ этому самому «Макинтошу». Тутъ часто назначаютъ свиданія.

При всемъ моемъ уваженіи къ беллетристической опытности и повѣствовательному таланту г. Боборыкина, я не могу не признать приведеннаго отрывка крайне страннымъ. Въ самомъ дѣлѣ, героиня г. Боборыкина сильно смахиваетъ на помѣшанную: сначала она прозрѣла въ звукахъ голоса дочери — «мужчину», потомъ погналась за этимъ призракомъ по Петербургу, а въ заключеніе, по внезапному наитію, рѣшила, что выдуманное ею свиданіе должно происходить непремѣнно у магазина «Макинтошъ», причемъ даже сдѣлала нелѣпое обобщеніе, что тамъ часто происходятъ свиданія! Неужели г. Боборыкинъ полагаетъ, что, навязывая Марьѣ Трофимовнѣ эти дикіе поступки, онъ занимался психологическимъ анализомъ? Неужели вся эта тирада, переданная къ тому-же крайне неуклюжимъ языкомъ, не «*сочинена*», въ смыслѣ художественной правды, отъ первой до послѣдней строки?

Безумства Марьи Трофимовны этимъ, однако, не кончаются. Она, дѣйствительно, бѣжитъ къ магазину «Макинтошъ» и сталкивается около подъѣзда мага-

зина съ брюнетомъ, «похожимъ лицомъ на армянина». Дѣлаю еще выписку: «Онъ, онъ!»—прошептала она, и ей захотѣлось остановить его, взять за руку, умолить «Христомъ Богомъ» не губить ея дѣвочки. Она и остановилась было. Прохожій тоже замялся на ходу: ему было неудобно пройти по тротуару, съуженномъ въ этомъ мѣстѣ. Марья Трофимовна взглянула на него, чувствуя, что блѣднѣетъ, и сошла съ тротуара, дала ему дорогу. Брюнетъ тоже взглянулъ на нее и пошелъ прочь. «Нѣтъ, не онъ, успокоила она себя».

Весь этотъ эпизодъ до такой степени невѣроятно дикъ, что всякіе комментаріи здѣсь будутъ излишни. И, между тѣмъ, читатель очень ошибается, если и въ самомъ дѣлѣ приметъ героиню г. Боборыкина за... большую чудачку, чтобы не сказать болѣе: въ другихъ мѣстахъ разсказа она обнаруживаетъ и смѣтливость, и «бывалость», какъ выражается авторъ, и большой здравый смыслъ. Виноватъ г. Боборыкинъ, сочинившій и навязавшій Евсѣевой нелѣпую «психологію», а не сама Марья Трофимовна. У г. Боборыкина нѣтъ почти совсѣмъ художественнаго творчества: чуть онъ перестаетъ списывать съ натуры, онъ начинаетъ путаться и говорить Богъ знаетъ что.

Несмотря на всѣ нелѣпыя выходки пріемной матери, Маруся уѣзжаетъ, чѣмъ и заканчивается первая часть разсказа. Считаю нужнымъ оговориться при этомъ, что я умалчиваю о многихъ побочныхъ

эпизодахъ разсказа, напр., о посѣщеніи Евсѣевой своей подруги Переверзевой, такъ какъ рѣшительно не знаю, съ какой стати они понадобились автору.

Во второй части мы встрѣчаемъ Марью Трофимовну въ Москвѣ, куда уѣхала дочь. Испуганная тономъ ея писемъ, Евсѣева продала свой скарбъ и, не предупредивъ Маруси, отправилась разузнавать о ея житьѣ-бытьѣ. Тутъ авторъ развертываетъ передъ нами цѣлую Одиссею: оказывается, что «бывалая» Марья Трофимовна не только не позаботилась разспросить у дочери, какую сценическую фамилію она для себя избрала,—хотя дочь передъ отъѣздомъ и сообщила ей о фактѣ перемѣны своей фамиліи,—но даже не съумѣла сразу розыскать ее въ Москвѣ, «забывъ, что можно справиться объ ея мѣстонахожденіи въ адресномъ столѣ». Разумѣется, и помимо адреснаго стола узнать о томъ, гдѣ живетъ дочь, было нетрудно: вѣдь Евсѣева ей отвѣчала на письма не въ пространство, а куда-нибудь въ опредѣленное мѣсто. Но, отправься Евсѣева прямо къ дочери, пришлось-бы выпустить всю сцену розысковъ дочери и всѣ связанные съ ней побочные эпизоды разсказа, составляющіе, однако, по своей величинѣ, самую значительную часть его. И вотъ авторъ подробно толкуетъ о томъ, какъ его героиня расплатилась съ носильщикомъ на вокзалѣ, и какъ наняла извозчика, и по какимъ улицамъ онъ везъ ее, и какъ она пріѣхала въ театръ, и что̀ ей сказалъ швейцаръ, и что̀ она сказала швейцару. Раз-

сказываетъ онъ и о томъ, какъ швейцаръ велѣлъ ей пріѣхать еще разъ къ семи часамъ, и она отправилась пока розыскивать домъ, гдѣ прошло ея дѣтство (Марья Трофимовна была москвичка по происхожденію). Домъ оказался проданнымъ какому-то купцу, но въ немъ жила еще родственница семьи, когда-то пріютившей Евсѣеву. Разумѣется, и родственница, и купецъ немедленно являются на сцену, причемъ подробно описываются ихъ костюмы, наружность, жесты, произношеніе, и проч. Затѣмъ Марья Трофимовна опять возвращается въ театръ, знакомится съ театральной портнихой и, наконецъ-то, сталкивается съ Марусей. Оказывается изъ дальнѣйшаго объясненія, что «*баритонъ въ родѣ тенора*», сманившій Марусю, бросилъ ее, и она сошлась съ какимъ-то другимъ актеромъ, «простакомъ», доставившимъ ей ангажементъ въ Рыбинскъ. Здѣсь Марья Трофимовна выкидываетъ еще одинъ удивительный кунштюкъ. Воспользовавшись короткимъ отсутствіемъ дочери, она отправляется въ уборную къ коварному тенору «объясниться». Разумѣется, объясненіе выходитъ крайне нелѣпо: оказывается, что дочь и до знакомства съ актеромъ пошали ала въ Петербургѣ, и своимъ поступкомъ Марья Трофимовна навлекаетъ только на себя подозрѣніе въ шантажѣ. Вся эта печальная исторія съ Марусей заканчивается самымъ трагическимъ образомъ: перемашивъ мать на свою квартиру и обобравъ ее до нитки, дочь, вмѣстѣ съ «простакомъ», внезапно

исчезаетъ изъ Москвы, оставивъ Марью Трофимову раздѣлываться съ долгами Маруси, какъ она знаетъ. И вотъ скромные пожитки Евсѣевой квартирный хозяинъ оставляетъ у себя, а акушерку выгоняетъ на улицу съ 60-ю копѣйками въ карманѣ.

Оставшись безъ крова, злополучная Марья Трофимовна принуждена провести ночь въ ночлежномъ пріютѣ. Попадаетъ она въ него не сразу: авторъ неутомимо мѣшаетъ ей въ достиженіи этой цѣли, то, неизвѣстно зачѣмъ, заставивъ ее разговаривать на бульварѣ съ нищимъ, отставнымъ офицеромъ, то въ самомъ пріютѣ смущая ея первый сонъ приходомъ репортеровъ, явившихся осматривать заведеніе. Разсказъ заканчивается тѣмъ, что въ пріютѣ внезапно оказывается необходимость въ акушеркѣ. Рожаетъ нищая, неизвѣстно гдѣ «пригулявшая ребенка». Вся апатія, вся усталость разомъ оставляютъ Марью Трофимовну; бодро принимается она за обычное дѣло, и, когда на свѣтъ Божій появляется, съ ея помощью, новый жилецъ,—она объявляетъ, что беретъ его на воспитаніе.

— «Какъ?» спроситъ читатель:—«но вѣдь она сама нищая, сама принуждена ночевать Богъ вѣсть гдѣ и шататься безъ крова по улицамъ?—«Вывернусь»,—отвѣчаетъ Марья Трофимовна:— «возьму у Переверзевой».—«Но почему-же вы, Марья Трофимовна, не надумались сдѣлать это раньше?»—пристаетъ читатель. «Бывалая» героиня г-на Боборыкина сконфуженно киваетъ на автора,—«спраши-

вайте, дескать, у него». А дѣло, между тѣмъ, очень ясно: догадайся Евсѣева прежде обратиться къ Переверзевой,—хозяинъ не прогналъ-бы ея съ квартиры, она не попала-бы въ ночлежный пріютъ, не встрѣтилась-бы съ офицеромъ, не увидѣла-бы репортеровъ и, наконецъ, не помогла-бы нищей, ребенка которой она усыновила. Не будь всего этого—не было-бы никакого трагизма въ ея судьбѣ, а не будь этого трагизма—не было-бы и разсказа. И вотъ авторъ выдумалъ цѣлую исторію и, надо сознаться, выдумалъ крайне неловко.

Разсказъ озаглавленъ: «Безвѣстная». Признаюсь, я не сразу разгадалъ значеніе этого заглавія. Мнѣ объяснила его только послѣдняя сцена разсказа; заглавіе г-на Боборыкина, очевидно, не полно;—слѣдуетъ читать его: «Безвѣстная героиня». Теперь замыселъ автора станетъ понятнымъ: г. Боборыкинъ, очевидно, задался цѣлью написать произведеніе «съ идеей», произведеніе тенденціозное: онъ захотѣлъ вывести на сцену одну изъ тѣхъ незамѣтныхъ личностей, затерянныхъ въ сѣрой толпѣ рабочаго люда, которыя безъ жалобъ и упрековъ, не смотря ни на какіе удары судьбы, какъ муравьи, скромно и безвѣстно совершаютъ свой житейскій подвигъ любви и труда. Замыселъ крайне симпатичный, но выполненъ онъ, къ сожалѣнію, слабо. У г-на Боборыкина не хватило ни творческаго таланта, ни простоты, тогда какъ послѣдняя была особенно необходима; выбранный имъ типъ «безвѣстной героини» именно

простъ въ жизни до послѣдней степени. Марья Трофимовна рѣшительно не удалась ему; правда, авторъ много разсказываетъ о томъ, какъ безкорыстно и радушно помогала она бѣднякамъ, довольствуясь своей скромной долею, — но за то въ своихъ отношеніяхъ къ Марусѣ она была неправа. Изъ повѣсти видно, что Евсѣева не имѣла никакого вліянія на свою воспитанницу; она сама помѣстила ее къ какимъ-то сомнительнымъ благодѣтелямъ, сама отпустила въ Москву. Она не сдѣлала ничего, чтобы предотвратить то разочарованіе, которое готовила ей дочь. Фальшиво нарисована Евсѣева и *какъ типъ:* съ одной стороны, авторъ на каждомъ шагу подчеркиваетъ ея опытность, практичность, бывалость, энергію. (Послѣднее качество необходимо даже для его творческаго замысла — для того, чтобы его Марья Трофимовна была дѣйствительно *героиней*, а не *тряпкой)*. Въ то-же время онъ заставляетъ ее нелѣпо преслѣдовать дочь по улицамъ Петербурга, нелѣпо растеряться, розыскивая ее въ Москвѣ, нелѣпо объясняться съ теноромъ, нелѣпо позволить обмануть себя въ Москвѣ и безъ нужды довести себя до печальной необходимости ночевать въ какомъ-то вертепѣ. Гдѣ-же тутъ умъ, смѣтливость, практичность, энергія? Крайне мѣшаетъ также впечатлѣнію разсказа его растянутость, масса ненужныхъ эпизодовъ, въ родѣ встрѣчи съ офицеромъ или репортерами, масса ненужныхъ деталей, какъ, напримѣръ, описаніе ноздрей служанки, мелькнувшей

въ разсказѣ на одно мгновеніе. Языкъ разсказа отзывается сочиненностью, вычурностью, «оригинальничаніемъ». Сапоги г. Боборыкинъ называетъ *ботиками*, калоши—*быхомами*. Маруся присаживается на стулъ «съ озорствомъ» и не повертывается, а «*повертываетъ*» къ двери. Въ другомъ мѣстѣ та-же Маруся «*легла поперекъ кровати и вскинула ногами*»—совершенно безъ всякой причины. Вмѣсто харчевни, г. Боборыкинъ говоритъ «*харчевушка*»; у извозчика его—«*щекастое*» *лицо*, а проѣзжающій мимо вагонъ конно-желѣзной дороги «*шипитъ*». Такой-же сочиненностью отзываются и нѣкоторые эпизоды разсказа: у нищей Маріи Трофимовны оказываются въ карманѣ особыя восковыя спички для освѣщенія лѣстницы, когда по ней приходится идти въ ночное время (какой европеизмъ, подумаешь!). Она-же, крайне взволнованная, разъѣзжая по Москвѣ, находитъ возможнымъ считать попадающихся ей навстрѣчу пѣшеходовъ съ непокрытыми головами, причемъ авторъ сообщаетъ, что она насчитала ихъ до двадцати. Магазинъ, который героиня подозрѣваетъ въ томъ, что онъ служитъ мѣстомъ свиданія ея возлюбленной дочери, именуется «Макинтошъ», подруга Евѣевой зовется «Переверзева», а двѣ церкви, о которыхъ упоминается въ разсказѣ, именуются одна—Успенье-Печатникъ, а другая Троица-Листы. Всѣ эти странныя имена, можетъ быть, и взяты г-мъ Боборыкинымъ изъ жизни, но, поставленныя рядомъ, они производятъ впечатлѣніе чего-то до-

нельзя изысканнаго и выдуманнаго. Въ иныхъ мѣстахъ авторъ выражается просто неправильно, не по-русски. Такъ, «*открытое письмо*» онъ называетъ «*почтовая карта*», переводя это слово съ французскаго—«carte postale». Что это,—небрежность, спѣшность, или тоже *оригинальничанье* особаго рода? Не даромъ Тургеневъ въ своихъ «Стихотвореніяхъ въ прозѣ» назвалъ русскій языкъ неоцѣнимымъ сокровищемъ. Съ сокровищемъ слѣдуетъ и обращаться тщательно и благоговѣйно.

Мнѣ очень жаль, что, заговоривъ въ моей хроникѣ о г-нѣ Боборыкинѣ, я долженъ былъ на этотъ разъ дать о послѣднемъ его произведеніи отзывъ скорѣе отрицательный, чѣмъ положительный. Меня давно уже возмущали огульные, несправедливые нападки нашей критики на почтеннаго романиста, который, не смотря на свои крупные недостатки, все-таки обладаетъ и выдающимся изъ ряду талантомъ, и беллетристической опытностью, и, наконецъ, недюжиннымъ образованіемъ. Послѣднее качество, какъ справедливо замѣчаетъ мой достойный оппонентъ, г. Буренинъ, тоже чего-нибудь да стоитъ, хотя, собственно, глумленіе надъ г-мъ Боборыкинымъ началось именно съ легкой руки г. Буренина. Но на этотъ разъ я не могъ доказать фактами моего взгляда на г-на Боборыкина: разказъ «Безвѣстная» дѣйствительно, по выполненію, крайне слабъ.

Слабой вещью показалось намъ и произведеніе

г-жи Кузьминской: «Бѣшеный волкъ», помѣщенное въ той же книжкѣ «Вѣстника Европы». Авторъ называетъ свое новое дѣтище истиннымъ происшествіемъ. На самомъ дѣлѣ это не что иное, какъ растянутая газетная корреспонденція о нападеніи на крестьянскую семью бѣшенаго волка,—сырой матеріалъ, частью интересный, частью совершенно незначительный. Художественной обработки предмета тутъ нѣтъ и слѣда. Тѣмъ же недостаткомъ отличалась и другая повѣсть дебютирующаго автора, помѣщенная нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ въ «Вѣстникѣ Европы» и озаглавленная «Бабья доля». Я встрѣтилъ какъ-то подпись г-жи Кузьминской и въ одномъ изъ нашихъ дѣтскихъ журналовъ, подъ разсказомъ съ весьма сомнительной моралью. Все это даетъ нѣкоторое основаніе думать, что большаго пріобрѣтенія въ лицѣ молодаго автора наша литература не сдѣлала. Да и помимо формы, самый выборъ сюжета, разсчитанный на интересъ, возбужденный въ нашемъ обществѣ открытіемъ Пастера, не очень мнѣ симпатиченъ: врядъ-ли достоинство серьезной литературы позволяетъ ей спускаться до приспособленія къ моднымъ вопросамъ. Одно дѣло—чуткость и отзывчивость, а другое — погоня за модой.

Есть въ этой-же книжкѣ «Вѣстника Европы» произведеніе и другой дебютантки, — г-жи Ольги Чюминой. Г-жа Чюмина выступаетъ передъ читателемъ въ качествѣ поэтессы, съ небольшимъ лири-

ческимъ стихотвореніемъ. Мы помнимъ ея имя также на страницахъ «Колосьевъ», «Новаго Времени» «Художественнаго Журнала» и «Сѣвернаго Вѣстника». Надо сознаться, что особой «кружковой» узкостью взгляда г-жа Чюмина не отличается: ей все равно, гдѣ-бы ни печатать, лишь-бы напечатать. Не знаю, можно-ли считать достоинствомъ такую *ширину взгляда*; впрочемъ, говорятъ, г-жа Чюмина еще очень молода, а молодости многое прощается за ея неопытность. Насколько можно судить по тѣмъ произведеніямъ молодой поэтессы, какія намъ удалось прочесть, она обладаетъ нѣкоторымъ талантомъ, но скорѣе талантомъ «*переводчицы*», чѣмъ талантомъ оригинальнымъ; собственно ей принадлежащія пьесы нѣсколько банальны и по формѣ, и по мысли; попадаются и прямыя несообразности. Такъ, въ послѣднемъ стихотвореніи ея, она говоритъ: «Съ балкона усадьбы во мракѣ бѣлѣя, виднѣется липъ серебристыхъ аллея». Во-первыхъ, *серебристыхъ липъ* не бываетъ; во-вторыхъ, липы во мракѣ *не могутъ бѣлѣть*; а въ третьихъ и самаго мрака *не могло быть*, какъ о томъ свидѣтельствуютъ первыя четыре строки стихотворенія: «свѣжо... вечерѣетъ... *зарею огнистой* подернулся западъ» и т. д. Мысль этого небольшаго стихотворенія (20 строкъ) тоже не отличается свѣжестью: «весной они любили другъ друга, а осенью разстались; такъ кратковременно людское счастье!» Симпатичной намъ показалось только простота формы стихотворенія. Желательно

однако, чтобы простота эта не переходила въ банальность. Во всякомъ случаѣ задатки для дальнѣйшаго развитія, на сколько мы можемъ судить, у г-жи Чюминой есть, но работать предстоитъ еще не мало.

IX.

(Романъ г-на Эртеля «Минеральныя воды» и г-на Сибиряка «На улицѣ»).

Знакомясь съ содержаніемъ каждой вновь выходящей въ свѣтъ книжки «Русской Мысли», начиная съ марта мѣсяца настоящаго года, я не безъ удовольствія убѣждался, что начатые въ этомъ мѣсяцѣ романы гг. Сибиряка и Эртеля еще не окончены и что, слѣдовательно, отзывъ о нихъ я могу пока отложить. Это тянулось такъ долго, что въ сердце мое стала даже закрадываться тайная надежда совсѣмъ не дожить до рокового момента, когда оба автора поставятъ заключительныя точки, а я, наоборотъ, долженъ буду взяться за перо, чтобы освѣтить для читателя достоинства и недостатки ихъ произведеній. Надежда эта особенно поддерживалась тѣмъ обстоятельствомъ, что, не смотря на большое количество прочитываемыхъ мною въ каждой новой книжкѣ печатныхъ листовъ, дѣйствіе въ романахъ рѣшительно не подвигалось впередъ, словно замерз-

нувъ на завязкѣ. Увы, надеждѣ моей не суждено было сбыться: въ майской книжкѣ на двухъ-трехъ послѣднихъ страницахъ г. Эртель, точно утомясь безцѣльно стенографиривать праздные разговоры своихъ героевъ, внезапно затянулъ передъ читателемъ узелъ интриги своего романа и, также внезапно оборвавъ его въ іюньской книжкѣ, положилъ перо. Начинаетъ какъ будто что-то проясняться и въ романѣ г. Сибиряка, хотя по-прежнему читателю крайне трудно угадать, куда клонитъ авторъ и скоро-ли онъ договорится до конца. Дѣлать нечего, приходится сказать объ этихъ произведеніяхъ хоть нѣсколько словъ.

Литературная карьера обоихъ разбираемыхъ мною авторовъ имѣетъ много сходныхъ чертъ: начали они,—какъ одинъ, такъ и другой,—сравнительно недавно. хотя имена ихъ уже пользуются въ литературѣ и въ публикѣ нѣкоторою извѣстностью. Г. Эртель писалъ небольшія повѣсти съ строго-опредѣленной фабулой, въ которыхъ разрабатывалъ различныя частныя явленія наблюдаемой имъ жизни. Г. Сибирякъ заявилъ себя очень талантливымъ разказчикомъ изъ сибирскаго быта. Но рамки прежней дѣятельности показались обоимъ авторамъ слишкомъ тѣсными: г-на Эртеля увлекло желаніе дать болѣе широкую картину жизни, чѣмъ онъ давалъ раньше, приблизиться отъ типа небольшого разсказа къ типу сложнаго романа, а г-нъ Сибирякъ, израсходовавъ, вѣроятно, накопленный имъ прежде матеріалъ,

рѣшился коснуться другихъ сторонъ, другихъ сферъ жизни, избравъ предметомъ своего романа описаніе нравовъ столичной улицы. Такимъ образомъ, по мысли авторовъ, новыя произведенія ихъ должны быть *шагомъ впередъ* въ ихъ литературной дѣятельности, должны выяснить читателямъ, на сколько велики и разносторонни ихъ дарованія. Я склоненъ думать, однако, что эти произведенія скорѣе слѣдуетъ признать шагомъ въ *сторону*, чѣмъ *впередъ*.

Взявшись за большой романъ, г. Эртель сдѣлалъ положительную ошибку: романъ ему не удался,—не удался, главнымъ образомъ, со стороны замысла и компановки. Въ самомъ дѣлѣ, что собственно хотѣлъ намъ сказать г-нъ Эртель? Въ произведеніи его нѣтъ никакого единства, если не брать въ соображеніе единства мѣста, служащаго ареной для романа,—единства чисто внѣшняго и случайнаго. Выводимыя авторомъ лица ничѣмъ не связаны въ взаимныхъ отношеніяхъ; они взяты изъ различныхъ слоевъ общества и сведены вмѣстѣ только простымъ случаемъ. Передъ читателемъ мелькаютъ и купцы, и аристократы, и военные, и представители интеллигентной молодежи, и дѣятели міра артистическаго, и типы изъ міра литературнаго. Очевидно, такимъ образомъ, что г-нъ Эртель не имѣлъ въ виду нарисовать нравы какой-нибудь опредѣленной группы лицъ, связанныхъ общностью воспитанія, образа жизни, привычекъ и интересовъ. Не имѣлъ онъ въ виду также и разрѣшать своимъ романомъ какой-либо нравственный или психо-

логическій вопросъ. Выходитъ, что произведеніе лишено связующаго его части цемента, такъ какъ нельзя-же считать цементомъ то обстоятельство, что всѣ герои г-на Эртеля пріѣхали на воды *лѣчиться*. За то отдѣльные типы въ романѣ и нѣкоторые частные эпизоды, какъ, напр., поѣздка курсового общества на Бермамутъ, нарисованы очень удачно и рельефно. Почти всѣ лица живы, естественны и оригинальны. Обстоятельство это еще разъ доказываетъ, что жанръ г-на Эртеля— именно небольшіе разсказы съ эпизодическимъ содержаніемъ. Какъ только онъ выходитъ за ихъ рамки, — онъ совершенно теряется въ собранномъ имъ матеріалѣ, оказываясь неспособнымъ умѣло справиться съ общимъ ходомъ своего произведенія. Каждое лицо, интересное и живое само по себѣ, говоритъ и дѣйствуетъ въ его романѣ отдѣльно отъ другихъ, приклеено къ общей фабулѣ насильственно, да и сама фабула развивается крайне бѣдно и вяло. Впрочемъ, «Минеральныя воды»— первая попытка г-на Эртеля въ этомъ родѣ. Можетъ быть, съ развитіемъ въ немъ опытности, онъ лучше овладѣетъ техникой постройки романа. Это было-бы особенно желательно въ виду той яркости и жизненности, которую обнаружилъ г-нъ Эртель въ обрисовкѣ отдѣльныхъ типовъ, изъ которыхъ нѣкоторые требовали очень тонкой и обдуманной работы.

О романѣ г. Сибиряка мы должны высказать мнѣніе, совершенно противоположное тому, которое мы

высказали о романѣ г. Эртеля: то, что слабо у послѣдняго, сильно у перваго, и наоборотъ. Романъ г. Сибиряка задуманъ въ высшей степени интересно и жизненно, и, если-бы выполненіе соотвѣтствовало замыслу, «На улицѣ» было-бы однимъ изъ выдающихся беллетристическихъ произведеній текущаго года; но торопливость, съ которою работаетъ г. Сибирякъ, помѣшала вылежаться и созрѣть его произведенію, помѣшала отлиться его идеѣ въ яркую и художественную форму. Заглавіе романа г-на Сибиряка слѣдуетъ понимать въ переносномъ смыслѣ. Для того, чтобы выяснить читателю, о какой улицѣ идетъ рѣчь въ романѣ, сдѣлаю выписку, въ которой авторъ самъ поясняетъ намъ свою мысль.

«И вы и я, и Нилушка Чвоховъ, m-r Богомоловъ, и вашъ отецъ, и сама несравненная Жюдикъ,— всѣ мы одинаково жертвы *улицы*,— заговорилъ Покатиловъ, глядя прямо въ лицо своей слушательницѣ. Это вотъ что значитъ, Сусанна Антоновна: *есть извѣстный средній уровень, который давитъ все и всѣхъ*. Ученый несетъ сюда послѣднія слова науки, артистъ и художникъ — плоды своего вдохновенія, общественные дѣятели свою энергію, женщины молодость и красоту. Улица всесильна, и у нея есть на все запросъ: всякая микроскопическая особенность на этомъ всеобщемъ рынкѣ находитъ себѣ самый вѣрный сбытъ. Пѣвецъ сюда несетъ какое-нибудь необыкновенное верхнее *до*, литературный талантикъ — послѣднее созданіе фантазіи, нашъ братъ

газетчикъ тащитъ всякій выдающійся фактъ, даже добродушіе oncl'я имѣетъ цѣну и сбытъ. Вы слышали сегодня Жюдикъ? Вотъ олицетвореніе улицы, хотя и болѣе широкой, чѣмъ наша петербургская. Къ особенностямъ улицы принадлежитъ, между прочимъ, и то, что она все, что попадаетъ на нее, передѣлываетъ по-своему, т. е. искажаетъ: есть спеціально уличная музыка, какую мы слышали сегодня, есть уличные актеры, уличная наука, уличная литература и т. д. Улица на все даетъ свою моду, и эта мода безмолвно выполняется всѣми строже всякихъ уголовныхъ законовъ. Нужно замѣтить, что наше несчастное время есть время господства улицы по преимуществу, и нужно обладать настоящимъ геройствомъ, чтобы не поддаться этому всесильному вліянію. Есть, конечно, истинная и великая наука, есть великіе честные дѣятели, есть красота, поэтическое вдохновеніе, энергія, таланты, которые остаются незараженными этою уличною атмосферою, но вѣдь геройство необязательно, и мы, обыкновенные люди, платимъ тяжелую дань своему времени. Въ этомъ заключается главный источникъ душевнаго разлада, борьбы совѣсти, явнаго и тайнаго протеста чувства, мукъ и настоящихъ страданій. Бороться съ требованіями улицы не всякому по силамъ, когда маленькая сдѣлка съ совѣстью даетъ извѣстность, имя, успѣхъ, богатство. Улица по преимуществу эксплоатируетъ дурные инстинкты, наши слабости, животную сторону нашего существованія. Вашъ

покорный слуга, въ данномъ случаѣ, не лучше другихъ и по возможности иллюстрируетъ жизнь улицы — самая благодарная работа, потому что улица любитъ потѣшиться сама надъ собой.»

Итакъ, вотъ что такое «улица!» Нетрудно понять, насколько явленіе, затронутое г. Сибирякомъ, важно въ жизни: наше искусство оно низвело до оперетки въ музыкѣ, до олеографій въ художествѣ, до «иллюстрированныхъ» журналовъ и ихъ корифеевъ въ литературѣ; науку оно подружило съ шарлатанствомъ, а нравственность, честь и долгъ свело къ умѣнью прослыть пріятнымъ человѣкомъ, «славнымъ малымъ», веселымъ собесѣдникомъ! Улица врывается въ жизнь черезъ всѣ щели, нагло торжествуя на каждомъ шагу, безъ труда срывая апплодисменты и вѣнки. Посмотрите на репертуаръ нашихъ драматическихъ театровъ въ послѣднее время— на всѣ эти «Лакомые кусочки», «Фофаны», «Байбаки» и пр. и пр.—развѣ это не улица? Справьтесь, какія изданія бойко расходятся на книжномъ рынкѣ: успѣхъ газетъ, въ родѣ «Новаго Времени», и книгъ, въ родѣ «О женщинахъ», или «Сергѣя Горбатова»— развѣ это не «уличный» успѣхъ? Замѣтьте, кому апплодируютъ въ оперѣ и драмѣ—развѣ эти смазливыя, избалованныя дешево доставшимися лаврами лица—не улица? Правда, успѣхъ на улицѣ бываетъ кратковременен: легкомысленная и забывчивая, она быстро свергаетъ съ пьедестала свои вчерашніе кумиры, наказывая ихъ забвеніемъ и равнодушіемъ,

и, какъ бабочка на огонь, жадно бросается на новыя впечатлѣнія, новыя удовольствія. Но бѣдные жрецы улицы, опьяненные своимъ мишурнымъ величіемъ, не смотрятъ, не умѣютъ смотрѣть впередъ: мгновеніе несетъ имъ славу и деньги, а о томъ, что̀ будетъ дальше, они не задумываются. Благо тому, кто понялъ улицу и не захотѣлъ служить ей, кого ведутъ впередъ высшія цѣли — вѣчныя цѣли науки, добра и искусства! Въ то время, когда память объ уличныхъ фаворитахъ и шутахъ заглохнетъ, какъ брошенная нива, и разсѣется, какъ плывущій дымъ — имя его останется навсегда незапятнаннымъ и незабвеннымъ. Только много-ли такихъ?...

Г. Сибирякъ, какъ мы уже замѣтили, выполнилъ свой замыселъ неудовлетворительно. Онъ взялъ не «улицу» въ широкомъ смыслѣ этого слова, а *аристократію улицы*, дѣятелей наиболѣе видныхъ, талантливыхъ и образованныхъ; онъ польстилъ улицѣ, представилъ ее «en beau», скрасилъ ея глубокую пустоту и жалкое ничтожество. Не удалось ему также широко захватить явленіе, которое онъ такъ мѣтко охарактеризовалъ въ приведенной нами выпискѣ: личности, выведенныя имъ, далеко не исчерпываютъ коллекціи уличныхъ типовъ, далеко не служатъ самыми общими и распространенными ихъ представителями: они слишкомъ своеобразны, слишкомъ оригинальны для этого. Очень жаль, что г. Сибиряку не пришло въ голову, на ряду съ дѣятелями улицы, дать два, три портрета истинныхъ труженн-

ковъ науки, истинныхъ служителей искусства; безъ этого контраста романъ его будетъ мало понятенъ,—по крайней мѣрѣ, мало понятенъ для самой улицы, не умѣющей читать между строками и составляющей въ то-же время, по количеству, самую значительную часть нашихъ читателей... Впрочемъ, романъ г. Сибиряка еще не оконченъ; можетъ быть, намъ прійдется еще разъ вернуться къ нему впослѣдствіи.

Не могу не обратить вниманія читателя еще на одно обстоятельство, имѣющее въ послѣднее время мѣсто въ нашей беллетристикѣ—на изображеніе въ каррикатурномъ или отрицательномъ видѣ дѣятелей литературы. Не избѣгли этого и оба разбираемые мною автора: въ произведеніи г-на Эртеля фигурируетъ нѣкая романистка Матрена Вальяжная, перессорившая своими сплетнями все «курсовое» общество и навязывающая всѣмъ и каждому свой романъ «Шестикрыліе»; а у г-на Сибиряка однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ является будущій редакторъ уличной газеты Покатиловъ и, рядомъ съ нимъ, на третьемъ планѣ романа—цѣлая группа «извѣстныхъ литераторовъ», готовыхъ съ легкимъ сердцемъ продать Покатилову свое имя и трудъ и настойчиво набивающихся въ сотрудники его газеты. Что̀ значитъ это гоненіе на литературу, поднятое самими литераторами? Гдѣ корень этого грустнаго явленія?

Къ сожалѣнію, я долженъ признаться, что многіе

изъ отрицательныхъ сторонъ современнаго литературнаго типа, выводимыхъ въ своихъ произведеніяхъ нашими беллетристами, безусловно вѣрны дѣйствительности. Литераторъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимали это слово въ 40-хъ и 60-хъ годахъ, мало-по-малу сходитъ со сцены; его замѣняетъ дѣятель новаго типа—скорѣе ремесленникъ, чѣмъ публицистъ или художникъ — отличающійся многими несимпатичными чертами. Для этого новаго типа не существуетъ прежнихъ завѣтныхъ традицій литературной чести, не позволявшихъ его предшественникамъ ни на іоту поступаться своими убѣжденіями; главнымъ двигателемъ его дѣятельности является гонораръ, а излюбленнымъ кумиромъ, которому онъ служитъ—улица. Задумайтесь хоть надъ исторіей возникновенія «Нови» съ ея «сотней знаменитыхъ писателей и ученыхъ»—развѣ это не характерное явленіе? Задумайтесь надъ постоянными перемѣнами направленія, какъ лицъ, такъ и цѣлыхъ литературныхъ органовъ,—развѣ это не характерное явленіе? Вотъ, напримѣръ, молодая поэтесса Ольга Чюмина, о которой я говорилъ прошлый разъ: сегодня она сотрудница Баталинскихъ «Колосьевъ», а завтра несетъ свои стихи въ «Вѣстникъ Европы». Очевидно, что она свободна не только отъ всякой кружковой узкости, какъ кричатъ разные литературные ренегаты и торгаши, но и отъ всякихъ убѣжденій; кромѣ того, что чѣмъ больше гонораръ, тѣмъ лучше. А вотъ еще примѣръ: выдвигается на сцену нѣкто г. Чеховъ,

человѣкъ, несомнѣнно отмѣченный выдающимся дарованіемъ, и печатаетъ свои вещи въ уличномъ, зубоскальствующемъ журналѣ «Осколки», издаваемомъ уличнымъ «юмористомъ» г-нъ Лейкинымъ, и въ уличной-же газетѣ «*Новое Время*». На каждомъ шагу читатель натыкается на какое-нибудь возмущающее душу литературное неприличіе: тутъ, подъ видомъ рецензіи, ловкій критикъ пишетъ доносъ на своего личнаго врага; тамъ не менѣе ловкій беллетристъ выводитъ въ пасквильномъ видѣ рецензента, давшаго о немъ неблагопріятный отзывъ. Тайны псевдонимовъ раскрываются самымъ наглымъ, самымъ развязнымъ образомъ, какъ сдѣлалъ это, напр., г-нъ Буренинъ, глумясь надъ книгою О. К. Нотовича. Къ крайнему моему прискорбію, я долженъ признаться, что эту нравственную безшабашность въ значительной степени внесла въ литературу— литературная молодежь, испорченная развращающимъ вліяніемъ переживаемаго нами историческаго момента. Литераторамъ слѣдовало-бы серьезно задуматься надъ этимъ явленіемъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ нѣкоторыми органами былъ поднятъ вопросъ о литературномъ судѣ чести. Нельзя не пожалѣть отъ всей души, что у поднявшихъ этотъ вопросъ не хватило энергіи провести его въ жизнь, добиться осуществленія своего проекта на практикѣ.

...Вспоминается мнѣ одинъ скверный-прескверный петербургскій осенній вечеръ... Было это не очень давно, лѣтъ пять-шесть тому назадъ; но если я и

теперь еще не могу похвастаться обиліемъ мудрыхъ сѣдинъ въ моихъ волосахъ, если теперь еще наша критика, упоминая иногда о моей скромной особѣ, упорно именуетъ меня *«начинающимъ»*, подражая въ этомъ случаѣ извѣстной Гоголевской теткѣ, до конца дней своихъ считавшей Ивана Ѳедоровича Шоньку «совсѣмъ еще молодымъ дѣтиной»,—легко вообразить себѣ, какъ возмутительно юнъ былъ я въ то время, о которомъ идетъ рѣчь. Это была самая неистовая, самая зеленая юность, слѣпо вѣрящая и въ честь, и въ правду, и въ добро, и въ прекрасное, во всѣ тѣ глупыя книжныя бредни, которыя, однако, я и до сихъ поръ не могу привыкнуть считать бреднями... Не замѣчая пронизывающаго до костей осенняго холода, не заглядывая по сторонамъ, въ сіяющія серебромъ, цвѣтными тканями и яркими бездѣлушками зеркальныя окна магазиновъ, рѣзко выходящія изъ мрака,—точно на крыльяхъ несся я по мокрому тротуару Невскаго проспекта, торопясь къ сроку въ училище, въ которомъ я яко-бы «воспитывался». Темно и скверно было кругомъ, но на душѣ моей цвѣла и горѣла радужнымъ блескомъ самая нарядная, самая благоуханная весна: вечеръ, о которомъ я вспоминаю, былъ вечеромъ перваго моего вступленія въ литературный міръ, перваго знакомства съ маститымъ извѣстнымъ поэтомъ П—вымъ, обратившимъ вниманіе на мои стихи, напечатанныя въ журналѣ «Слово», и письменно пригласившимъ меня къ себѣ «потолковать и позна-

комиться». Я былъ какъ въ чаду. Передъ глазами моими неотступно стояла высокая, широкоплечая фигура, съ благороднымъ и добрымъ лицомъ, съ бѣлыми волосами, откинутыми назадъ, и широкой «патріархальной» бородой, упадающей на грудь... Я слышалъ еще этотъ нѣсколько глухой и усталый, но мягкій и задушевный голосъ, и свѣтлыя-свѣтлыя перспективы широко открывались передо мной... Вотъ занесенное снѣгомъ село... Въ одной изъ хатъ мерцаетъ огонекъ... Русая головка дѣвушки-учительницы склонилась надъ послѣдней книгой журнала. Это—читательница, *моя будущая читательница*... Вотъ шипитъ самоваръ, и за столомъ, освѣщеннымъ лампой, тоже декламируютъ стихи... Вотъ шумная студенческая пирушка... Одинъ изъ гостей случайно раскрылъ книгу журнала и тоже углубился въ напечатанное тамъ стихотвореніе... *это все мои читатели!* И это будетъ, непремѣнно будетъ; *онъ* сказалъ, что у меня *есть талантъ*: онъ сказалъ, что мнѣ стоитъ работать!.. О, счастіе!..

Таковы были мои грезы. Я не скажу, чтобы я вполнѣ разочаровался въ нихъ,—но жизнь выдвинула на глаза мои и много такого, о чемъ я не имѣлъ никакого понятія... Едва я вышелъ изъ рамокъ поэзіи и рискнулъ подать мой голосъ въ другой области—въ области литературной критики,—на меня сразу посыпались всевозможные сюрпризы: два раза я имѣлъ удовольствіе читать грязные пасквили на мою личность. То тамъ, то здѣсь, подъ

шумокъ, коснулась меня клевета. Одинъ разсерженный редакторъ назвалъ меня печатно «шантажистомъ». Одна разсерженная бездарность стала дѣлать на меня легонькіе лживые доносцы въ литературной формѣ. Я говорю объ этомъ для того, чтобы охарактеризовать фактически извѣстную часть нашей современной литературной среды, чтобъ читатель не думалъ, что на нашемъ пути попадаются намъ однѣ только розы; чтобы выяснить ему, насколько справедливы нападки на литературу этого рода со стороны нашихъ беллетристовъ. Правда, нерѣдко бываетъ, что «обличителями» руководитъ мелочное, личное чувство, что они ругаютъ не типы, а просто Петрова или Иванова. Но въ принципѣ «обличители» не совсѣмъ неправы: честный литераторъ вырождается... Шумная улица нагло вторгается въ поруганный храмъ...

X.

(Разсказъ г-на Бажина «Одинъ». — «Въ августовскую ночь», Матильды Серао, переводъ съ итальянскаго).

Вновь вышедшія книжки журналовъ принесли съ собой мало интереснаго для читателей и утѣшительнаго для хроникера. «Наблюдатель» появился такимъ же пестрымъ шутомъ, какъ всегда: тѣ-же сомнительныя произведенія отечественныхъ талантовъ, тѣ-же переводы иностранныхъ авторовъ «числомъ поболѣе, цѣною подешевле», тѣ-же хромыя стихотворенія! Особенно хорошъ на этотъ разъ отдѣлъ «новыхъ книгъ». Разбирая въ майскомъ № книжку г. Кроткова, которая, однако, вышла еще въ прошломъ году и поэтому можетъ назваться «новой» развѣ только сравнительно съ вѣчностью, рецензентъ «Наблюдателя» указалъ на эскизность разсказовъ г-на Кроткова и великодушно простилъ ему этотъ недостатокъ на томъ основаніи, что разсказы эти будто-бы печатались въ газетѣ «Новое Время»; на самомъ-же дѣлѣ главнѣйшіе изъ нихъ, какъ, напр.,

«Гладкія взятки», помѣщены были въ «Отечественныхъ Запискахъ», что̀ далеко не все равно. Въ настоящемъ № мы нашли критическіе перлы еще болѣе высокаго достоинства. Такъ, разбирая шаблонный романъ г-на Немировича-Данченко «Цари биржи», столько-же вѣрный русской жизни, сколько вѣрна ей любая балаганная масляничная пьеса, проницательный критикъ «Наблюдателя» восхищается жизненной и талантливой обрисовкой типовъ въ этомъ романѣ и находитъ, что послѣ Тургенева у насъ никто такъ мастерски не описывалъ природу, какъ г. Данченко... Тургеневъ—и г. Данченко! Вотъ что̀ значитъ имѣть вѣрный критическій глазъ! Не менѣе интересна рецензія на стихотворенія молодаго кіевскаго поэта, г. Николаева, дѣйствительно не лишеннаго искренности и дарованія: критику «Наблюдателя» особенно понравилось въ стихахъ его то, что г. Николаевъ *не еврей*, хотя и живетъ въ странѣ, заполоненной «кулишеровскими (?) о̀рганами! И кого это «Наблюдатель» собирается поучать такой критикой?

Послѣдняя книжка «Сѣвернаго Вѣстника» тоже уступаетъ въ интересѣ предъидущей. Небольшой разсказъ г-на Бажина «Одинъ» написанъ суховато и большими художественными достоинствами не отличается. Содержаніе его въ общихъ чертахъ состоитъ въ слѣдующемъ: У Катерины Андреевны Часовой, оставшейся по смерти мужа безъ всякихъ средствъ, есть два сына; первый изъ нихъ, Иванъ, красавецъ и умница, составляетъ всю гордость, всю надежду

матери. Поставленный въ необходимость поддерживать ее и младшаго своего брата—Мишу, Иванъ бросаетъ гимназію и ищетъ мѣста. Красота и ловкость открываютъ передъ нимъ двери всѣхъ домовъ, но съ юношей, лишеннымъ всякихъ нравственныхъ принциповъ, случается грѣхъ—и довольно крупный: онъ запускаетъ руку въ шкатулку однихъ своихъ знакомыхъ и попадается. Отчаянію и негодованію матери нѣтъ предѣловъ; она совершенно отказывается отъ своего сына. Иванъ Чàсовъ до поры до времени исчезаетъ со сцены.

Между тѣмъ второй сынъ, Миша, хромая и спотыкаясь, постоянно борясь съ нуждой, а также съ болѣзненностью своей натуры, кончаетъ курсъ и получаетъ мѣсто сельскаго учителя съ 25 рублями жалованья. Устроившись и уже женившись, онъ приглашаетъ къ себѣ мать, мыкающуюся по чужимъ людямъ, и жизнь маленькой семьи первое время идетъ дружно и безъ особыхъ треволненій. Это, однако, продолжается недолго: мать начинаетъ скучать въ деревнѣ... Мало-по-малу доводы ея и просьбы Вари, молодой жены Чàсова, заставляютъ его покинуть насиженное гнѣздо и любимое дѣло и перебраться въ городъ. Здѣсь на сцену опять является старшій Чàсовъ, Иванъ, успѣвшій темными путями разбогатѣть и нажиться. Почти насильно врывается онъ въ семью брата, выпрашиваетъ прощеніе матери, завладѣваетъ расположеніемъ Вари и переманиваетъ ихъ обѣихъ въ свои палаты, а Михаилъ Чàсовъ

уѣзжаетъ одинъ опять въ деревню—лечить трудомъ свое горе и одиночество. Такова фабула разсказа. Изъ типовъ, выведенныхъ авторомъ, ему наиболѣе удался младшій Часовъ, прямая, честная, непосредственная натура, со взглядомъ на жизнь, можетъ быть, нѣсколько узкимъ, но за то ужъ безусловно честнымъ. Вообще разсказъ, не выдаваясь изъ ряда произведеній современной беллетристики, общее впечатлѣніе оставляетъ симпатичное, хотя и не яркое.

Кромѣ произведенія г-на Бажина, мы нашли въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» начало повѣсти г-на Каронина: «Сверху внизъ»; но отзывъ о ней отложимъ до ея окончанія. «Дневникъ читателя» на этотъ разъ показался намъ менѣе интереснымъ, чѣмъ когда-либо: о покойномъ Островскомъ г. Н. М. не сказалъ ничего *своего*, оригинальнаго и мѣткаго, а продолженіе разбора дѣятельности графа Толстаго написано съ меньшей убѣдительностью и энергіей, чѣмъ первая статья г-на Н. М., посвященная тому-же предмету. Наиболѣе вѣскій упрекъ, заключающійся въ новой статьѣ г-на Н. М., относится собственно не къ графу, а къ складу «Посредникъ», обратившемуся недавно ко всѣмъ, стоящимъ близко къ народу, съ просьбой объ указаніи тѣхъ темныхъ сторонъ народной жизни и тѣхъ настоятельныхъ нуждъ народа, которыя складъ могъ-бы освѣтить и разрѣшить своей авторской и издательской дѣятельностью. Г-нъ Н. М. справедливо замѣчаетъ, что одною изъ такихъ темныхъ сторонъ является суевѣріе, и что, выпуская въ свѣтъ

книги, наполненныя разсказами о чудесахъ, складъ самъ въ значительной степени поощряетъ и развиваетъ его.

Но если оригинальныя статьи «Сѣвернаго Вѣстника» на этотъ разъ блѣднѣе обыкновеннаго, за то выборъ переводовъ не оставляетъ желать ничего лучшаго. Въ особенности хорошъ романъ итальянской писательницы, Матильды Серао, «Фантазія», начатый въ этой книжкѣ. Имя г-жи Серао очень мало извѣстно русской публикѣ: изъ ея произведеній мы помнимъ прекрасныя жанровыя сценки «Въ пансіонѣ», помѣщенныя недавно въ «Русской Мысли», да одинъ изъ мелкихъ ея разсказовъ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ»,—вотъ, кажется, и все. Между тѣмъ молодая писательница очень стóитъ вниманія. Романъ «Фантазія» считается лучшимъ ея произведеніемъ. Мы вернемся къ нему, когда онъ будетъ оконченъ, а пока, чтобъ ознакомить по мѣрѣ силъ читателя съ ея симпатичнымъ и изящнымъ дарованіемъ, я прошу позволенія привести здѣсь одинъ изъ ея небольшихъ разсказовъ, еще нигдѣ не переведенный и заимствованный мною изъ сборника: «Paginà azurra» (лазурная страница), вышедшаго въ 1883 году. Онъ называется:

Въ августовскую ночь.

Широкая мраморная терраса ярко бѣлѣла подъ лучами полной луны. Въ ея мягкомъ, чарующемъ свѣтѣ контуры предметовъ сглаживались, становились расплывчатыми и неясными. Снопами падали

безстрастные лучи на широкіе листья жасмина, которые казались выкованными изъ серебра; снопами падали они и на блестящую мѣдную клѣтку, гдѣ спали пестрыя птички, подвернувъ подъ крылья свои головки и видя во снѣ зеленый сумракъ тропическихъ лѣсовъ своей родины. Лицо Клеліи точно осыпано было хлопьями снѣга; все оно сквозило фарфоровой бѣлизной, и только тамъ, гдѣ опущенныя вѣки соприкасались со щекой,—ярко чернѣла густая тѣнь длинныхъ рѣсницъ... Ни одного всплеска на морѣ. Далекая дуга Позилипа, тонущая въ мерцающемъ свѣтломъ туманѣ, все болѣе и болѣе походила на голову какого-то фантастическаго чудовища, погруженнаго въ глубокое раздумье... На торжественно-безмятежномъ фонѣ вызвѣздившагося неба четко рисовался спокойный профиль статуи Побѣды, крылатой и неподвижной.

Даже и она, бронзовая статуя, казалась согрѣтой въ эту чудную ночь нѣжностью, лаской и чарами забвенія.

Среди притихшей жизни, смолкнувшихъ звуковъ и поблекшихъ красокъ два предмета на террасѣ не покорялись умиротворяющему вліянію тихой ночи: Одинъ былъ крупная бриллiантовая сережка, сверкавшая въ прозрачномъ ухѣ Клеліи. Съ гордымъ, безстрастнымъ великолѣпіемъ, свойственнымъ драгоцѣннымъ камнямъ, она струила изъ себя цѣлые снопы переливчатаго блеска. Другой былъ вспыхивающій огонекъ сигары Жоржа. Въ тѣни, въ углу,

образуемомъ стѣной и балюстрадой террасы, она мерцала и дымилась, какъ маленькій волканъ. Жоржъ былъ вольнодумецъ и скептикъ, esprit fort, какъ говорятъ французы; онъ терпѣть не могъ природы, поэзіи, неясныхъ, сладкихъ ощущеній и фантастическихъ грезъ,—терпѣть не могъ всего того, что освобождаетъ сердце отъ крѣпкихъ латъ безстрастія и насмѣшливости, въ которыя заключилъ его Жоржъ. Но сегодня Жоржу было не по себѣ. Лунный свѣтъ покорялъ его. Онъ чувствовалъ, что спасительная иронія измѣняетъ ему, что легкія морщины разглаживаются на его лбу, что натянутые нервы распускаются, и серьезныя думы превращаются въ пестрыя мечты—вкрадчивыя, нѣжныя, благоуханныя. Жоржъ бѣжалъ отъ этого свѣта въ тѣнь, въ уголъ—и въ видѣ протеста, съ мрачной рѣшимостью, зажегъ свою сигару, молча поглядѣвъ въ лицо Клеліи. Она же, вѣчная мечтательница—вся нѣжилась, вся отдавалась чарамъ этой ночи. Она, казалось, забыла даже о присутствіи Жоржа, такъ какъ не поднимала на него своего бархатнаго взгляда. Недвижная, молчаливая, проникнутая луннымъ свѣтомъ, она напоминала собой статую спящей Галатеи, чутко ждущей въ своемъ снѣ Пигмаліона, который-бы ее разбудилъ.

Вдругъ, въ безбрежной тишинѣ, разлитой вокругъ, прозвучалъ и донесся до террасы рѣзкій, вибрирующій аккордъ; гдѣ-то вдали по клавишамъ рояли ударила рѣшительная рука. Клелія вздрогнула, открыла глаза,

прислушалась и, наконецъ, сказала, обращаясь къ Жоржу:

— Вотъ она!

— Кто?

— Вы сейчасъ услышите.

И въ самомъ дѣлѣ незнакомая піанистка выдержала паузу—и бѣшеные звуки хлынули цѣлымъ ураганомъ. Это было что-то стремительное, неудержимое. Странныя, пестрыя гаммы—то рѣзво и весело хохочущія, то мрачно гремящія громовыми раскатами, сыпались одна за другой, и ухо едва успѣвало слѣдить за всѣми модуляціями и переходами этого звенящаго трелями, рокочущаго марша. Казалось, бѣглыя руки піанистки преслѣдуютъ одна другую, быстро перебѣгая по всей клавіатурѣ, соединяются на мигъ въ одномъ созвучьѣ и, разбѣгаясь, опять продолжаютъ съ новымъ увлеченіемъ свою безумную игру. Но вотъ звуки стали рости и рости... Ясныя, опредѣленныя, патетическія ноты отчетливо долетали до террасы. Изъ бѣшенаго каскада стала выдѣляться нѣжная, широкая мелодія. Ей тихо вторилъ аккомпаниментъ, гаммы разорвались, какъ нитка жемчуга, съ которой медленно одинъ за другимъ падаютъ перлы. Что это такое было? Колыбельная пѣсня, молитва ребенка, грусть любви?

Музыка была безъ словъ,—но въ широкихъ звуковыхъ волнахъ, плывущихъ въ воздухѣ, ясно отражались волны луннаго свѣта, проникающаго мглу этой ночи... Море, небо, бронзовая статуя Побѣды,—

все это стояло очарованное, заслушавшись и задумавшись... Казалось, по временамъ легкая, свѣтлая улыбка озаряла ихъ.

Но вотъ темпъ снова измѣнился: рояль снова дрогнулъ взрывомъ веселаго, раскатистаго смѣха... andante стало ускоряться, и бѣсъ опять вселился въ руки пьянистки. Нѣжность перешла въ страсть, плавная медлительность смѣнилась нервной быстротой. Буря росла и росла — и вдругъ точно нестройный крикъ сорвался съ рояля: дойдя до апогея, піанистка сдѣлала ошибку, взяла фальшивый аккордъ.

— Она ошиблась, ошиблась!...—не выдержавъ, вскрикнула Клелія, вся поблѣднѣвъ и похолодѣвъ.

— Ну, такъ что-жъ? Чего-жъ вы-то тревожитесь? —насмѣшливо спросилъ Жоржъ.

— Ничего,—отвѣтила она, стараясь преодолѣть свое волненіе.

Піанистка, между тѣмъ, начала снова; снова совершила она весь пройденцый путь, вкладывая въ свои звуки еще больше души, чѣмъ прежде, если только это было возможно. Вновь забушевалъ, запѣлъ и засмѣялся послушный рояль и вновь въ роковомъ мѣстѣ пьесы раздался рѣзкій вопль,—на этотъ разъ еще болѣе нестройный... Инструментъ заупрямился... Но и артистка заупрямилась тоже. Снова и снова съ удвоенной настойчивостью принималась она за свою пьесу; но, казалось, паническій страхъ овладѣвалъ ею, едва доходила она до фатальнаго мѣста... Все ея вниманіе, всѣ усилія разбивались о неразрѣ-

шимую задачу этого такта... онъ не давался ей, какъ кладъ...

На Клеліи самымъ живымъ образомъ отражались всѣ перипетіи этой борьбы человѣка съ инструментомъ. Вся превратившись въ слухъ, она слѣдила за усиліями піанистки, про себя одобряла ее, улыбалась въ началѣ пьесы, во время самыхъ искусныхъ пассажей; потомъ ею начинало овладѣвать волненіе, она тревожилась, удвоивала вниманіе, и когда съ клавишъ рояли срывался неизбѣжный диссонансъ,— она чувствовала себя совершенно изнеможенной и разбитой. Жоржъ глядѣлъ на нее задумчиво. Сигара его потухла.

Мало-по-малу острота этихъ впечатлѣній сгладилась, и Клелія чувствовала только какую-то странную печаль, навѣянную на нее этой музыкой. Сама артистка, очевидно, тоже устала. Она перешла къ другой пьесѣ и исполнила ее мастерски. Видно было, что она хотѣла разсѣяться, забыть о своей неудачѣ. Нѣсколько блестящихъ фантазій и выразительныхъ сонатъ слѣдовали одна за другой. Пальцы артистки начали утомляться этимъ богатствомъ, этой роскошью музыкальныхъ звуковъ... Но вотъ снова раздался вступительный аккордъ первой пьесы. Очевидно, піанистка вернулась къ своей idée fixe... На этотъ разъ, казалось, самъ рояль задрожалъ отъ злораднаго смѣха надъ ея новой неудачей... Звуки оборвались и смолкли... Ночь приняла ихъ въ себя и поглотила ихъ своимъ молчаніемъ.

— Ну-съ, что-же во всемъ этомъ вы видите интереснаго?... спросилъ Жоржъ, но голосъ его звучалъ необычно мягко.

— Она смущаетъ меня, она волнуетъ мнѣ душу...— отвѣтила Клелія:—Десять дней подъ-рядъ трудится она надъ этой пьесой и мучается своей неудачей, а я мучаюсь вмѣстѣ съ ней.

— Почему?

— Почему?—я этого и сама не знаю. Въ сущности что̀ для меня ея музыка? Но я чувствую, что между моимъ душевнымъ состояніемъ и ея игрой есть какая-то связь. Я испытываю то-же, что и она... Почему?—повторила она:—въ томъ-то и дѣло, что я не знаю *почему*, не знаю, что̀ значитъ этотъ роковой, не дающійся ей тактъ, это темное, недоговоренное мѣсто,—но оно просто пугаетъ меня.

Жоржъ не отвѣчалъ. Заглянувъ въ себя, онъ съ удивленіемъ увидѣлъ, что чувство Клеліи понятно и близко ему, что онъ самъ почти страдаетъ за артистку.

— Знаете,—продолжала она:—мнѣ всегда казалось, что всѣ мы, сколько насъ ни есть, и вѣрующіе, и невѣрующіе, и старящіеся юноши, и молодящіеся старики, и мечтатели, и позитивисты — всѣ носимъ въ груди что-то неразгаданное, темное, недоговоренное, ключъ къ жизни, ключъ къ счастію... Что̀ это такое—я не съумѣю вамъ объяснить—но оно всегда съ нами. Есть-ли это вопросъ, бросаемый нами небу и безконечности, боязнь за свою судьбу—ахъ, я не

знаю, не знаю....,Испытали-ли вы это чувство? Понимаете-ли вы меня? Права-ли я?...

— Можетъ быть,—задумчиво отвѣтилъ Жоржъ.

— Можетъ быть? Да, вотъ настоящее слово... Мы ничего не знаемъ, мы можемъ только допускать... Мы слѣпы, слѣпы... Ахъ, лучше ужъ совсѣмъ не спрашивать себя ни о чемъ, и спать, спать!..

Изнеможенная, она откинула голову на спинку кресла, и ея серьги ослѣпительно сверкнули при лунномъ свѣтѣ. Холодный, вкрадчивый, онъ завладѣлъ почти всей террасой и пробирался уже и въ уголъ Жоржа. А Жоржъ, сдвинувъ брови, задумчиво спрашивалъ себя, что̀ съ нимъ такое, какое сомнѣніе заговорило въ глубинѣ его души...

Въ это время снова грянулъ вступительный аккордъ. Артистка пыталась въ послѣдній разъ...

— Боже мой! — нервно прошептала Клелія, закрывая лицо руками. — Неужели я никогда не избавлюсь отъ этой власти неизвѣстнаго, тяготѣющаго надо мною? Неужели я такъ и не услышу этого недоиграннаго аккорда, такъ и не пойму, чего хочетъ мое сердце?

Роковая минута приближалась... Она была близка... близка...

— О, Жоржъ,—безпокойно сказала Клелія, обратившись къ нему:—Если вы знаете это слово жизни, это роковое слово, умоляю васъ, скажите его...

— Любовь!—глухо отвѣчалъ Жоржъ:—Я люблю васъ, Клелія!

Рояль издалъ вопль торжества. Роковой тактъ стройно и мощно прозвенѣлъ въ воздухѣ. Луна, между тѣмъ, завладѣла послѣдней темной чертой въ углу Жоржа, и глубокій миръ этой августовской ночи тихо осѣнилъ собой молодыхъ людей.

XI.

(Статья г-на Песковскаго: «Образованіе женщинъ у насъ и за-границей»).

Въ послѣдней іюльской книжкѣ «Русской Мысли« помѣщена статья, заслуживающая особеннаго вниманія. Она принадлежитъ г. Песковскому и посвящена современному женскому образованію у насъ и за-границей. Какъ извѣстно читателю, вопросъ о высшемъ женскомъ образованіи въ Россіи въ настоящее время переживаетъ, если можно такъ выразиться, свой кризисъ: разрѣшеніемъ этого вопроса занята особенная правительственная коммиссія, на которую возложено рѣшить, въ какой формѣ и въ какихъ границахъ можетъ быть допущено у насъ высшее женское образованіе и какія права будутъ предоставлены лицамъ, получившимъ его. Въ ожиданіи рѣшенія коммиссіи пріемъ слушательницъ въ высшія женскія учебныя заведенія временно прекращенъ. Съ другой стороны озабочено рѣшеніемъ этого вопроса само общество, въ принципѣ горячо

сочувствующее идеѣ высшаго женскаго образованія. Это выразилось, напримѣръ, въ той готовности, съ которой оно матеріально пришло на помощь женскимъ врачебнымъ курсамъ въ Петербургѣ, когда объявленъ былъ сборъ пожертвованій на этотъ предметъ. Нечего и говорить, какъ близко принимаютъ къ сердцу судьбу высшаго образованія тѣ, кого касается рѣшеніе ея непосредственно,—окончившія въ этомъ году или кончающія въ непродолжительномъ времени курсъ среднихъ образовательныхъ заведеній. По всему видно такимъ образомъ, что будущій результатъ работы коммиссіи, каковъ-бы онъ ни былъ, получитъ значеніе *крупнаго историческаго факта*, одного изъ тѣхъ фактовъ, которые являются характеристичными для цѣлой эпохи, въ ряду другихъ культурныхъ и политическихъ событій своего времени.

Г. Песковскій въ своей статьѣ касается не только *высшаго* женскаго образованія *въ частности*, но и женскаго образованія *вообще*, какъ у насъ, такъ и за-границей. Статья его не лишена нѣкоторыхъ недостатковъ. Такъ, исторіи и итогамъ заграничнаго образованія отведено въ ней слишкомъ мало мѣста; написана статья нѣсколько разбросанно, безъ строгаго плана и послѣдовательности, что мѣшаетъ читателю оріентироваться. Наконецъ, съ нѣкоторыми выводами г. Песковскаго не всякій согласится: такъ, напримѣръ, говоря о полезныхъ сторонахъ институтскаго образованія въ первое время существованія этихъ заведеній, г. Песковскій указываетъ на то,

что институты выпускали изъ своихъ стѣнъ учительницъ, болѣе способныхъ къ педагогической дѣятельности, чѣмъ пріѣзжія француженки, нерѣдко являющіяся подонками общества у себя на родинѣ и съ охотой мѣняющія въ Россіи педагогическую карьеру на путь въ нравственномъ отношеніи болѣе скользкій, но и болѣе выгодный. Врядъ-ли это такъ: несомнѣнно, что въ моральномъ отношеніи институты были выше;—но пріѣзжія француженки, какъ ни низко могло быть ихъ соціальное положеніе на родинѣ, навѣрно были знакомы съ наукой не меньше, чѣмъ институты Екатерининскаго времени *). Наука въ этихъ институтахъ не шла дальше самыхъ примитивныхъ познаній въ области чтенія, письма, счета, исторіи и географіи, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ самъ г. Песковскій; а если принять къ свѣдѣнію, насколько западное общество того времени, только что просвѣщенное идеями энциклопедистовъ, было выше тогдашней русской интеллигенціи и какъ невелико было въ умственномъ отношеніи различіе между высшими и низшими классами на Западѣ, сравнительно съ тѣмъ-же различіемъ у насъ,—различіемъ, еще и до сихъ поръ открывающимъ цѣлую бездну между «барицомъ» и «мужикомъ»,—ясно станетъ, что невѣжественныя у себя на родинѣ француженки у насъ

*) Первый русскій институтъ, основанный указомъ Екатерины Великой въ 1764 г., назывался «Воспитательнымъ обществомъ благородныхъ дѣвицъ». Теперь онъ извѣстенъ подъ именемъ Смольнаго монастыря.

далеко не являлись таковыми-же. Вообще г. Песковскій слишкомъ мягко относится къ институтамъ; ниже я постараюсь доказать читателю, что и теперь еще они не Богъ вѣсть какъ далеко ушли впередъ въ дѣлѣ педагогики и науки отъ своихъ первообразовъ.

Я не имѣю возможности, по недостатку мѣста, передать читателю всю статью г. Песковскаго, даже въ краткомъ изложеніи. Мнѣ придется остановиться только на тѣхъ ея сторонахъ, которыя касаются непосредственно Россіи. Г. Песковскій дѣлаетъ довольно содержательный историческій очеркъ высшаго женскаго образованія у насъ. Картина неутомимаго, почти стихійнаго движенія впередъ и впередъ вопроса о женскомъ образованіи, не смотря на массу препятствій, встрѣчаемыхъ на пути, должна подѣйствовать успокоительно на всѣхъ, кто съ преувеличеннымъ страхомъ ждетъ окончательнаго рѣшенія этого вопроса. Имъ станетъ ясно, что помѣшать движенію такого рода нельзя, какъ нельзя произвольно измѣнить направленія вѣтра и теченія звѣздъ. Человѣческій прогресъ является такимъ же закономъ природы, какъ и всѣ прочіе: его можно искусственно задержать, но не уничтожить окончательно.

Существуетъ мнѣніе, что по отношенію къ женскому образованію Россія занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ среди европейскихъ государствъ. На самомъ дѣлѣ, какъ доказываетъ г. Песковскій, это далеко не такъ. Не говоря уже о настоящемъ

моментѣ, когда права русской женщины на высшее образованіе совсѣмъ еще не признаны оффиціально въ ея отечествѣ, въ Америкѣ въ 1871 г., т. е. 15 лѣтъ тому назадъ, считалось больше ста тысячъ женщинъ, окончившихъ высшія учебныя заведенія. Даже въ Японіи, Индіи и Египтѣ женщинамъ открытъ доступъ въ высшія учебныя заведенія, тогда какъ у насъ вопросъ этотъ остается пока нерѣшеннымъ. Очевидно, что намъ кичиться нечѣмъ, и что много энергіи нужно двигателямъ этого вопроса, чтобы поставить его на желанную высоту. Императрица Екатерина Вторая первая въ Россіи дала толчокъ дѣлу образованія женщины. Ею, какъ уже сказано, основано было «Воспитательное общество благородныхъ дѣвицъ», извѣстное теперь подъ именемъ Смольнаго института. Такимъ образомъ идея образованія женщинъ въ Россіи пріютилась сначала въ среднемъ учебномъ заведеніи; что-же касается низшихъ, народныхъ школъ—онѣ въ то время еще не существовали. Вообще объ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ г. Песковскій даетъ очень скудныя свѣдѣнія, такъ какъ дѣло народнаго образованія прочно поставлено у насъ сравнительно недавно и точныхъ статистическихъ данныхъ по этому предмету еще не существуетъ. Судя-же приблизительно, женщины въ этомъ отношеніи значительно отстали отъ мужчинъ: число обучающихся въ народныхъ школахъ дѣвочекъ не составляетъ и трети суммы образующихся мальчиковъ. «Въ отношеніи-же собственно сельскаго

населенія»,—замѣчаетъ г. Песковскій,—«выводъ этотъ будетъ еще болѣе неблагопріятнымъ, такъ какъ значительная часть обучающихся дѣвочекъ приходится на города».

Итакъ, первое по времени женское учебное заведеніе въ Россіи принадлежало къ типу среднихъ и привилегированныхъ, такъ какъ принимались исключительно дѣвицы «благороднаго происхожденія». Спустя годъ послѣ его основанія, императрица издала новый указъ, которымъ повелѣвалось открыть при немъ и особое мѣщанское отдѣленіе. Вскорѣ по образцу вновь учрежденнаго института стали открываться новые и новые, и въ началѣ пятидесятыхъ годовъ число ихъ достигло до 15. Въ 58-мъ году идея женскаго образованія въ Россіи сдѣлала новый шагъ впередъ. Но мы остановимся пока на педагогической дѣятельности института.

Говоря объ «Воспитательномъ обществѣ благородныхъ дѣвицъ», послужившемъ прототипомъ для институтовъ, г. Песковскій останавливаетъ вниманіе читателя на инструкціи, данной начальницѣ заведенія, замѣчая отъ себя, что она, эта инструкція, смѣло могла-бы выдержать педагогическую критику даже въ настоящее время. Говоря откровенно, для насъ осталось неяснымъ, что̀ собственно такъ понравилось г. Песковскому въ цитируемомъ имъ отрывкѣ изъ этой инструкціи. Вотъ она отъ слова до слова: «Хотя благоразуміе и искусство будутъ основаніемъ всѣхъ поступковъ начальницы, однако-же надлежитъ

соединять ихъ съ кротостью, а наипаче съ непринужденною (?) веселостью. И сіе вперять или сообщать и прочимъ госпожамъ, а особенно молодымъ дѣвицамъ, *дабы симъ способомъ отвращенъ былъ и самый видъ того, что скукою, грустью или задумчивостью назваться можетъ*». Врядъ-ли современная педагогика одобрила-бы внушенія, которыя не должны клониться къ тому, что имѣетъ даже только видъ задумчивости! А какъ наивно это требованіе отъ человѣка *обязательной, и въ то-же время непринужденной, веселости!* Нѣтъ, по нашему мнѣнію, въ инструкціи этой уже лежитъ зерно той лжи и того притворства, которыя составляютъ одинъ изъ главнѣйшихъ недостатковъ институтскаго образованія и воспитанія въ наше время. Намъ тѣмъ менѣе понятно одобреніе г. Песковскимъ воспитательной программы «Общества благородныхъ дѣвицъ», что самъ-же онъ выше говоритъ: «Въ новомъ женскомъ учебномъ заведеніи мало было обращено вниманія на *образовательную сторону*; заботы направлялись преимущественно на физическое и нравственное воспитаніе». И потомъ дальше: «Конечно, на практикѣ все свелось къ воспитанію благонравной свѣтской барышни. Чистота произношенія по-французски, ловкость въ танцахъ, умѣніе играть на клавикордахъ,—вотъ чѣмъ измѣрялась тогда степень образованности вообще, и образованности женщины въ особенности. Разумѣется другихъ, болѣе благопріятныхъ, результатовъ и нельзя было ожидать для

воспитанницъ, которымъ «вперялось», что онѣ должны гнать самый видъ (!) того, что «задумчивостью» назваться можетъ»!

Читатель можетъ быть помнитъ прекрасныя воспоминанія г-жи А. Л., озаглавленныя «Изъ дѣтства и школьныхъ лѣтъ», помѣщенныя въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ». Въ свое время я давалъ отчетъ о нихъ въ моей хроникѣ. Сколько я слышалъ стороной, авторъ этихъ воспоминаній описываетъ институты конца 60-хъ и начала 70-хъ годовъ,—время отъ насъ сравнительно очень мало отдаленное. Въ Америкѣ, какъ свидѣтельствуетъ г. Песковскій, числилось въ это время больше 100,000 женщинъ съ высшимъ образованіемъ. Разбирая воспоминанія г-жи А. Л., я останавливалъ вниманіе читателей на томъ педагогическомъ символѣ вѣры, который исповѣдывала, по словамъ автора, начальница описываемаго имъ института. Я позволю себѣ еще разъ привести выдержку изъ этого мѣста воспоминаніи г-жи А. Л.: «Что касается воспитательной ея дѣятельности»,—говоритъ г-жа А. Л., — «то она сводилась къ поученіямъ на слѣдующую тему: хорошо-воспитаннымъ дѣвушкамъ нужно: прежде всего имѣть хорошія манеры и говорить безъ акцента по-французски; это условіе sine qua non ихъ будущаго счастія; это талисманъ, который достаточнымъ образомъ обезпечитъ не только успѣхъ въ обществѣ, но и добудетъ богатымъ—комильфотнаго жениха, а бѣднымъ дастъ возможность попасть на хорошо-оплачиваемыя ка-

зенныя мѣста учительницъ и воспитательницъ. Затѣмъ для дѣвицы нужна хорошая нравственность. Что подразумѣвалось подъ этой нравственностью, довольно трудно опредѣлить сразу. Затѣмъ обязательно было знать свои уроки добропорядочно, однако и не слишкомъ блестящимъ образомъ... ну, потому что «знать что-либо очень хорошо»—для молодой, благовоспитанной дѣвицы, какъ будто, даже неприлично. Молодая, хорошо-воспитанная дѣвица должна колебаться, сомнѣваться въ непреложности своихъ взглядовъ, и за разъясненіемъ обращаться къ старшимъ». Припоминая сдѣланную г. Песковскимъ характеристику женскаго образованія и воспитанія въ первомъ, основанномъ Екатериною Второю, институтѣ и сопоставляя ее съ этимъ свидѣтельствомъ г-жи А. Л., мы увидимъ, что педагогическіе взгляды и пріемы въ обоихъ названныхъ случаяхъ, между которыми лежитъ промежутокъ въ *сто лѣтъ*, ничѣмъ существенно не разнятся между собой; и тамъ, и здѣсь отъ воспитанницы требуется притворство и ложь; и тамъ, и здѣсь наука оттѣснена на третій планъ, а главное вниманіе обращено на внѣшнюю благовоспитанность, на умѣніе держать себя въ обществѣ, на чистоту французскаго произношенія... Немного измѣнились институты и за тотъ промежутокъ времени, который отдѣляетъ ихъ отъ нашихъ дней: туго пробиваются за ихъ крѣпкія стѣны свѣжія струи жизни и свѣтлые лучи знанія. А между тѣмъ въ педагогическомъ отношеніи они

могли-бы быть заведеніями очень полезными, при тѣхъ средствахъ, которыми они располагаютъ; но для этого имъ нужно отказаться отъ многихъ взглядовъ XVIII вѣка, до сихъ поръ полноправно царящихъ въ ихъ стѣнахъ.

Но пойдемъ дальше. Къ началу 50-хъ годовъ существующихъ институтовъ оказалось слишкомъ недостаточно, чтобы дать мѣсто всѣмъ желающимъ поступить въ нихъ; на каждую вакансію являлось до восьми кандидатокъ. Столь рѣзко выразившаяся потребность въ открытіи новыхъ учебныхъ заведеній для женщинъ подала поводъ взяться за это дѣло частнымъ лицамъ, и вотъ въ Россіи стали возникать среднія учебныя заведенія новаго типа,—пансіоны для дѣвицъ. Хотя образовательная сторона поставлена была въ нихъ, по свидѣтельству г. Песковскаго, ниже, чѣмъ въ институтахъ, но мы все-таки должны считать возникновеніе ихъ шагомъ впередъ, такъ какъ въ большинствѣ случаевъ они явились заведеніями открытыми и слѣдовательно ближе стоящими къ дѣйствительной жизни и къ ея требованіямъ. Вскорѣ и правительство признало необходимость такихъ открытыхъ среднихъ учебныхъ заведеній—и вотъ по иниціативѣ профессора Вышнеградскаго открылось въ Петербургѣ Маріинское женское училище, доступное для дѣтей всѣхъ сословій и съ программой нѣсколько разнящейся отъ институтской. Успѣхъ новооткрытаго училища былъ огромный. Число кандидатокъ, желающихъ поступить

въ него, значительно превзошло число свободныхъ мѣстъ въ немъ. Спустя два года послѣ основанія Маріинскаго училища въ Россіи считалось уже шестнадцать заведеній этого типа, а еще черезъ два года, именно въ 1862 г., имъ присвоено было наименованіе гимназій, подъ которымъ они и существуютъ до нашего времени.

Итакъ, среднимъ учебнымъ заведеніямъ для женщинъ у насъ повезло наиболѣе. Если читатель вдумается въ смыслъ той быстроты, съ которою покрывалась ими Россія, онъ увидитъ, что потребность въ образованіи у насъ далеко опередила мѣропріятія, направленныя къ ея удовлетворенію. Съ той-же быстротой стали возникать, по частной иниціативѣ, опирающіяся на общественную потребность и *высшія* учебныя заведенія для женщинъ. Hat man A gesagt, muss man B sagen, говоритъ нѣмецкая пословица— то-есть, если ты сказалъ *а*, то долженъ сказать и *б*. Пословица эта, какъ нельзя болѣе, оправдалась и въ исторіи возникновенія у насъ высшихъ женскихъ учебныхъ заведеній. Едва среднее образованіе женщинъ достигло удовлетворительной степени развитія, какъ явилась мысль о высшемъ образованіи. Въ 1861 году нѣсколькимъ женщинамъ удалось проникнуть въ стѣны медико-хирургической академіи и университетовъ. «Вскорѣ однако»,—замѣчаетъ г. Песковскій,—«двери высшихъ учебныхъ заведеній снова на-глухо захлопнулись для нихъ». Такъ продолжалось до 69 года. Тѣмъ не менѣе, не смотря на неблаго-

пріятныя обстоятельства, явившіяся для женщинъ помѣхой, преградившей имъ путь къ высшему образованію, потребность въ немъ нельзя было задавить окончательно,—и вотъ русскія женщины нашли для себя исходъ въ пилигримствѣ за-границу, гдѣ онѣ поступали въ университеты, давно уже доступные на западѣ для женщинъ. Количество такихъ піонерокъ возростало съ каждымъ годомъ, и вскорѣ, въ 69/70 году, въ видѣ полумѣры открыты были въ Петербургѣ: «*публичныя лекціи для мужчинъ и женщинъ*» (Владимірскіе курсы) и «*Аларчинскіе курсы*», въ Москвѣ—«*публичные курсы для женщинъ по программѣ классическихъ гимназій*» (Лубянскіе курсы). Впрочемъ, полумѣра эта не удовлетворила стремленія женщинъ къ высшему образованію и только подняла въ нихъ энергію и настойчивость. Наконецъ, въ 1872 г. открыты были въ Москвѣ профессоромъ Герье «*Высшіе женскіе курсы*». Въ томъ же году открылись и въ Петербургѣ «*Курсы ученыхъ акушерокъ*», переименованные въ 76 г. въ «*Женскіе врачебные курсы*». Затѣмъ, по образцу курсовъ Герье, начали возникать такія же женскія учебныя заведенія и въ провинціи—въ Казани и въ Кіевѣ. Другіе университетскіе города, Одесса, Харьковъ, Варшава, тоже выработали для себя уставы высшихъ женскихъ курсовъ, но... уставы эти утвержденія не получили: ходатайства профессоровъ, взявшихъ на себя инициативу этого дѣла, остаются безъ отвѣта, какъ будто-бы ихъ и не было.

Программы вновь открытыхъ высшихъ учебныхъ заведеній съ 76 по 78 гг. были троякаго рода: *педагогическія* (педагогическіе курсы с.-петербургскихъ женскихъ гимназій), *медицинскія* (женскіе врачебные курсы) и *университетскія* (въ Москвѣ курсы Герье и Лубянскіе, курсы въ Казани, Петербургѣ и Кіевѣ). Къ сожалѣнію, не только возникновеніе новыхъ высшихъ женскихъ учебныхъ заведеній было парализовано, какъ мы видѣли это на примѣрѣ Одессы, Варшавы и Харькова, но и уже существующія начали мало-по-малу уничтожаться. Печальная участь эта постигла раньше всего врачебные курсы, пріемъ слушательницъ на которые прекращенъ въ 1882 г. Наконецъ, въ текущемъ (1886) году появилось въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» извѣстное читателямъ правительственное сообщеніе, по которому временно прекращенъ пріемъ и во всѣ остальныя высшія женскія учебныя заведенія вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія. Такова исторія женскаго образованія въ Россіи.

Да не посѣтуютъ на меня читатели за то, что весь мой сегодняшній фельетонъ я посвятилъ одной статьѣ г-на Песковскаго и что, за недостаткомъ мѣста, мнѣ пришлось ограничиться однимъ только сухимъ перечнемъ фактовъ. Но мнѣ кажется, что выводъ изъ этихъ фактовъ получается самъ собой, и выводъ, въ концѣ концовъ, утѣшительный и ободряющій: общественная потребность въ женскомъ образованіи есть потребность органическая, законная въ той-же

мѣрѣ, въ какой законны въ человѣкѣ жажда и голодъ. Это гарантируетъ уже само по себѣ и удовлетвореніе этой потребности. Будемъ-же терпѣливо ждать рѣшенія коммиссіи и будемъ надѣяться, что рѣшеніе это поставитъ дѣло высшаго женскаго образованія у насъ такъ прочно, что намъ не придется краснѣть за невѣжество нашихъ матерей и женъ передъ Европой, давно уже съ чувствомъ глубокаго уваженія отзывающейся о нравственныхъ качествахъ русской женщины.

Къ іюльской книжкѣ «Русской Мысли» я надѣюсь вернуться еще разъ и тогда побесѣдую съ читателемъ о новой повѣсти г. Короленко, помѣщенной въ ней.

XII.

(Повѣсть г. Короленко: «Слѣпой музыкантъ»).

Какъ-то весной, въ минуту тихой грусти, должно быть, набѣжавшей ко мнѣ сквозь открытое окно изъ благоухающаго въ сумеркахъ сада, какъ набѣгаетъ иногда ласковая струйка душистаго вѣтерка, у меня написалось такое стихотворенице:

Опять меня гонитъ знакомая печаль,
Опять меня зоветъ съ неотразимой властью
Нарядная весна въ заманчивую даль,
Къ безвѣстнымъ берегамъ, къ невѣдомому счастью...
Волшебница, молча! Куда еще спѣшить,
Чего еще искать? Подъ бурей испытаній
Исжита жизнь до дна! Назадъ не воротить
Запосчивыхъ надеждъ и дерзкихъ упованій!
Въ минувшіе года я вѣрилъ въ твой призывъ,
Я отдавался весь твоимъ безумнымъ чарамъ...
Какъ гордъ я былъ тогда, какъ былъ нетерпѣливъ,
Какъ слѣпо подставлялъ я грудь мою ударамъ!
Я, какъ Икаръ, мечталъ о ясныхъ небесахъ!...
Напрасныя мечты. Неопытныя крылья
Сломились въ вышинѣ, — и я упалъ во прахъ,
Съ сознаніемъ стыда, печали и безсилья.

Довольно! Догорай неслышно день за днемъ,
Надломленная жизнь! Тяжелою цѣною
Достался опытъ мнѣ. За яркимъ мотылькомъ
Не брошусь я теперь, не увлекусь мечтою:
Пускай вѣнки побѣдъ другихъ къ себѣ влекутъ,—
Тѣхъ, кто еще кипитъ отвагою орлиной,
А мнѣ хватило-бъ силъ на мой завѣтный трудъ,
На незамѣтный трудъ, упорный, муравьиный!...

Въ самомъ дѣлѣ, имѣть возможность безъ помѣхи, упорно, не заносясь, работать во имя того, что считаешь добромъ и истиной,—какое-бы это было большое и какое человѣчное счастіе! Къ сожалѣнію, я бываю иногда лишенъ этой возможности. Давно уже подъ одной кровлей со мной поселилась злая старуха, которая, едва я берусь за перо, отталкиваетъ меня отъ письменнаго стола, костлявой рукой закрываетъ мою чернильницу и на приготовленномъ листѣ бѣлой бумаги, вмѣсто задуманнаго мною, неумолимо выводитъ высокія цифры лихорадочной температуры. Я, однако, не сдаюсь и краду у нея рѣдкія, свѣтлыя минуты для занятія любимымъ дѣломъ.

За то долгое время, когда я по-неволѣ долженъ былъ пріостановить мои отчеты о текущей литературѣ, литературная жизнь шла своимъ чередомъ: выходили въ срокъ книжки журналовъ, присылались въ редакцію отдѣльныя сочиненія съ просьбами объ отзывѣ... Впрочемъ, ничего особенно выдающагося за это время не случилось. Въ «Вѣстн. Европы» помѣщенъ былъ недурной разсказецъ г-жи А. Л. «*Яковъ Хохолъ*», принадлежащій къ серіи ея очер-

ковъ, печатавшихся раньше въ этомъ журналѣ подъ общимъ заглавіемъ «*Старинныя дѣла*». Тамъ-же напечатанъ и разсказъ г-жи Виницкой «Врачъ по призванію», далеко уступающій первой повѣсти той-же писательницы, помѣщенной, если мы не ошибаемся, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ «Отечественныхъ Запискахъ». Въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», въ іюльской книжкѣ, закончилась повѣсть г. Коронина «Снизу вверхъ», ничѣмъ въ сущности не отличающаяся отъ цѣлаго ряда однородныхъ съ ней повѣстей изъ деревенскаго быта. Въ той-же книжкѣ мы нашли весьма странный, чтобъ не сказать болѣе, разсказъ г-на Ю—ова «Записки спирита», напоминающій своимъ содержаніемъ писанія госпожъ Блавацкой и Желиховской, украшающія иногда страницы «Русскаго Вѣстника». Въ книжкахъ «Недѣли» бросается въ глаза крайней наивностью своей тенденціи и неумѣлостью изложенія повѣсть изъ жизни маріонетокъ «Либералъ и Народникъ», въ которой посрамляются либералы не только въ своихъ соціальныхъ убѣжденіяхъ, но даже и въ частной жизни. Во «Всемірной Иллюстраціи» помѣщены стихотворенія г-на Фруга, въ одномъ изъ которыхъ онъ, между прочимъ, воспѣваетъ своего коня за то, что у этого коня «горделивая посадка» (?). Двѣ вновь вышедшія книжки «Дѣла», которое, какъ вѣчный жидъ, никакъ не можетъ умереть окончательно, представляютъ изъ себя настоящую аравійскую пустыню во всѣхъ отдѣлахъ. Какъ видитъ читатель изъ этого краткаго перечня,—

интереснаго немного. Тѣмъ съ большей охотой я предлагаю ему остановиться на этюдѣ г-на Короленко «Слѣпой музыкантъ», напечатанномъ въ іюльской книжкѣ «Русской Мысли» и являющемся однимъ изъ самыхъ выдающихся произведеній за текущій литературный годъ.

Появленіе въ «Русской Мысли» этюда г. Короленко было настоящимъ тріумфомъ для автора: критика встрѣтила новое произведеніе даровитаго писателя единодушными похвалами и,—о диво!—даже «Петербургскія Вѣдомости», обыкновенно крайне-нетерпимо относящіяся къ произведеніямъ, помѣщаемымъ въ либеральныхъ органахъ, всецѣло присоединились къ этому общему хвалебному хору. Казалось, г. Короленко удовлетворилъ всѣмъ требованіямъ и всѣмъ вкусамъ,—успѣхъ, выпадающій на долю только первоклассныхъ дарованій. Что касается лично меня, я не совсѣмъ согласенъ съ этимъ общимъ мнѣніемъ: мнѣ, кажется, что помѣщенный въ той-же «Русской Мысли» разсказъ г. Короленко «Въ дурномъ обществѣ» гораздо выше по своему художественному достоинству, чѣмъ его «Слѣпой музыкантъ». Отдавая полную справедливость несомнѣннымъ и крупнымъ достоинствамъ этого этюда, достоинствамъ, о которыхъ я буду говорить ниже, я нахожу въ немъ и нѣкоторыя художественныя погрѣшности. Напримѣръ, не кажется-ли вамъ страннымъ хоть этотъ восторгъ «Петербургскихъ Вѣдомостей», такъ открыто и такъ положительно выра-

раженный ими? Наша прогрессивная литература по количеству занимаетъ преобладающее мѣсто; не можетъ быть, чтобы въ продолженіе цѣлаго десятка лѣтъ въ четырехъ, пяти толстыхъ журналахъ не попалось-бы ни одного произведенія съ настолько яркими художественными достоинствами, чтобы оно не вызвало похвалъ въ литературѣ противоположнаго берега; а между тѣмъ на самомъ дѣлѣ это было такъ; одинъ только г. Короленко представляетъ въ этомъ случаѣ счастливое исключеніе. Въ чемъ-же тайна этого явленія? Чѣмъ заслужилъ г. Короленко такое безпристрастіе со стороны «Петерб. Вѣд.»? Timeo Danaos et dona ferentes, т.-е. «бойся Данайцевъ и дары приносящихъ». То, за что хвалятъ г. Короленко «Петерб. Вѣдом.», является въ нашихъ глазахъ однимъ изъ наиболѣе крупныхъ недостатковъ новаго произведенія молодаго автора. Мы говоримъ объ исключительности избраннаго г. Короленко сюжета, объ его отвлеченности отъ современной жизни, съ нуждами и запросами тяжелаго рабочаго дня, съ нашими недугами и нашими упованіями. Вся маленькая драма, нарисованая г. Короленко, развивается въ замкнутомъ кругу личной жизни его героевъ и ихъ спеціальныхъ интересовъ. Разумѣется, критика не въ правѣ указывать авторамъ на темы для ихъ произведеній: это дѣло личнаго настроенія и міросозерцанія автора; но критика въ правѣ поставить выше по значенію произведеніе, затрогивающее вопросъ, болѣе широкій и близкій

современности, чѣмъ произведеніе, посвященное вопросу частному, хотя-бы и то, и другое отличались одинаковыми достоинствами изложенія. Такъ «Отцы и Дѣти» Тургенева выше по своему значенію многихъ изъ его маленькихъ разсказовъ, напр., хоть «Якова Пасынкова», такъ какъ рознь между отцами и дѣтьми существовала, существуетъ и будетъ существовать, пока существуетъ въ обществѣ движеніе впередъ; точно также никогда не умрутъ Гамлеты и ихъ антиподы Донъ-Кихоты,—не умрутъ Фамусовы, Чичиковы и другіе типы, принадлежащіе къ числу вѣчныхъ типовъ человѣчества. Г. Короленко захватилъ своимъ разсказомъ очень узкую и очень исключительную сферу,—исторію того, какимъ образомъ надѣленный выдающимся музыкальными способностями слѣпой мальчикъ научился переводить на языкъ музыки всѣ остальныя жизненныя явленія, воспринимаемыя или только угадываемыя имъ, и какимъ образомъ онъ по-немногу примирился съ своимъ горемъ, сознавъ громадность общей суммы того-же горя, выпавшей на долю другихъ слѣпцовъ, поставленныхъ въ менѣе благопріятныя, чѣмъ онъ, условія. Нечего и говорить, что тема эта очень гуманна и очень интересна въ психологическомъ отношеніи, но едва-ли она можетъ быть задачей художественнаго произведенія.

Второй упрекъ, который мы можемъ предъявить г. Короленко, заключается, какъ это ни покажется страннымъ, въ томъ, что, по нашему мнѣнію, этюдъ

недостаточно разработанъ именно съ психологической стороны. Г. Короленко, открывая намъ внутренній міръ своего героя, чаще говоритъ о его физіологическихъ ощущеніяхъ, чѣмъ о нравственномъ и умственномъ его ростѣ, чѣмъ объ его интимной душевной жизни. Мы знаемъ, что чувствуетъ *физически* его герой по поводу каждаго внѣшняго явленія, и въ изображеніи этихъ физическихъ ощущеній г. Короленко достигаетъ иногда удивительной яркости и образности; — но какъ отражаются эти явленія на его внутренней жизни,—объ этомъ г. Короленко говоритъ крайне бѣгло. Такъ напр., даже въ самомъ кульминаціонномъ пунктѣ повѣсти, въ томъ мѣстѣ, гдѣ юношу Петра впервые потрясаетъ сознаніе, что не онъ одинъ страдаетъ въ жизни, что есть люди въ тысячу разъ болѣе несчастные, чѣмъ онъ,—г. Короленко совершенно не говоритъ намъ о той бурѣ чувствъ и мыслей, которая должна была разразиться въ этомъ случаѣ въ душѣ его героя; онъ прямо сообщаетъ, что Петръ заболѣлъ послѣ этого случая нервной горячкой, а когда наступило выздоровленіе,—онъ всталъ съ постели уже совершенно перерожденнымъ. Такимъ образомъ, самое острое мѣсто повѣсти,—нравственный кризисъ, давшій Петру навсегда успокоеніе и примиреніе съ своей судьбой,—остается задернутымъ отъ читателя завѣсою болѣзни. И въ другихъ мѣстахъ повѣсти, вмѣсто яркой картины внутренней жизни Петра, г. Короленко ограничивается корот-

кими фразами: «Петръ былъ задумчивъ», или «Петръ былъ грустенъ»; но что думалъ Петръ, въ какія формы отливалась его грусть,—остается тайной для читателя. Авторъ взялъ душевную жизнь своего героя какъ-то слишкомъ исключительно, только со стороны отношенія Петра къ его физическому недостатку. Крайне мало разработана также и душевная жизнь Эвелины. Она, со своей стойкостью, со своей самоотверженной преданностью Петру, все время остается для читателя немножко загадкой. О другихъ лицахъ повѣсти мы и не говоримъ. Всѣ они, кромѣ дяди Максима, скорѣе похожи на блѣдныя тѣни, чѣмъ на живыхъ людей. Таковы, напр., отецъ и мать героя, въ особенности первый, сосѣдняя молодежь и дударь Іохимъ. Повѣсть производитъ, такимъ образомъ, впечатлѣніе картины, на которой вырисованы красками только двѣ-три главныя фигуры, а остальныя едва намѣчены углемъ. За то природа въ этюдѣ г. Короленко и живетъ, и дышетъ; это настоящая, согрѣтая настоящимъ солнцемъ и обвѣянная настоящимъ воздухомъ, природа; тепломъ и нѣгой весны обдаетъ васъ съ тѣхъ страницъ книги, которыя посвящены ея описанію. Вы слышите эту «торопливую весеннюю капель отъ нависшихъ съ крыши сосулекъ, прихваченныхъ утреннимъ морозомъ и разогрѣтыхъ полдневнымъ солнцемъ», слышите, какъ она «стучитъ тысячью звонкихъ ударовъ, быстро отбивающихъ переливчатую дробь; по временамъ сквозь этотъ шумъ и звонъ

окрики журавлей плавно проносятся съ далекой высоты и постепенно смолкаютъ, точно они тихо таютъ въ воздухѣ». Въ этомъ маленькомъ описательномъ отрывкѣ, заимствованномъ мною у самого автора, каждое слово, каждый эпитетъ полонъ правды, поэзіи и образности: *Торопливая* капель... звуки, *падающіе* въ комнату подобно *яркимъ* и *звонкимъ камешкамъ*, быстро отбивающимъ *переливчатую* дробь... Стоящіе вокругъ шумъ и *звонъ*... *Плавные* окрики журавлей, *тающіе* въ воздухѣ. Такой мѣткости и такой оригинальности сравненій и образовъ давно мы не встрѣчали въ современной беллетристикѣ. Нынѣшніе литературныхъ дѣлъ мастера замѣняютъ обыкновенно образность и оригинальность вычурностью, а мѣткость—ненужнымъ размазываніемъ ненужныхъ подробностей.

Заговоривъ о прекрасномъ, поэтическомъ языкѣ, которымъ написанъ этюдъ г. Короленко, перейдемъ къ другимъ его достоинствамъ. Для большаго удобства, я предлагаю читателю прослѣдить со мной въ краткомъ пересказѣ судьбу героя г. Короленко съ начала и до конца, причемъ мы будемъ останавливаться на наиболѣе выдающихся въ художественномъ отношеніи мѣстахъ.

Въ богатой семьѣ юго-западнаго края, состоящей изъ отца, пана Попельскаго, его жены и «дяди Максима», родился слѣпой мальчикъ. Мальчикъ росъ и, благодаря здравому смыслу дяди Максима, сразу съумѣвшему поставить какъ слѣдуетъ его воспи-

таніе, развивался со дня на день. Самъ дядя Максимъ является крайне оригинальной личностью: это одна изъ тѣхъ натуръ, которымъ душно бываетъ въ обыкновенныхъ условіяхъ будничной жизни, которыхъ вѣчно тянетъ къ приключеніямъ и опасностямъ; скрытая жизненная сила, въ изобиліи дарованная имъ природою, не даетъ имъ ни минуты покоя. Дядя Максимъ къ тому-же былъ развитъ гораздо выше своего времени. «На любезности пановъ», — говоритъ авторъ, — «онъ отвѣчалъ дерзостями, а мужикамъ спускалъ своеволіе и грубости, на которыя самый смирный изъ шляхтичей непремѣнно отвѣчалъ-бы оплеухами». Но и дядѣ Максиму не подъ силу было бороться съ царствовавшими тогда крѣпостными порядками. Жажда свободы увлекла его съ его родины туда, гдѣ можно было, по крайней мѣрѣ, сражаться за свободу: онъ поступилъ въ ряды гарибальдійцевъ, дрался рядомъ съ великимъ вождемъ во всѣхъ его славныхъ схваткахъ, и, наконецъ, совершенно изувѣченный, безъ ноги и съ пораненной рукой, вернулся на родину доживать свой вѣкъ. Онъ чувствовалъ себя, по выраженію автора, «рыцаремъ, выбитымъ изъ сѣдла жизнью и поверженнымъ ею въ прахъ», и не разъ холодная мысль о самоубійствѣ стала навѣщать его въ минуты раздумья. Рожденіе племянника отогнало эту мысль; въ немъ онъ увидѣлъ такого-же инвалида, какъ онъ самъ, и, сознавая себя развитѣе окружающихъ, по-

нялъ, что если кто можетъ облегчить мальчичу его судьбу, такъ это именно онъ, дядя Максимъ.

Главной задачей своей дядя Максимъ поставилъ настолько развить въ племянникѣ его природныя способности, чтобы вознаградить этимъ хоть отчасти недостатокъ зрѣнія; единственнымъ средствомъ для этого было предоставленіе ребенку какъ можно болѣе широкой самостоятельности. Онъ настоялъ, чтобы мать не старалась предупреждать каждое желаніе своего сына, чтобъ она дала ему возможность отыскивать самому нужныя вещи и переходить съ мѣста на мѣсто; такая система первоначальнаго воспитанія до тонкости развила въ мальчикѣ осязаніе и слухъ; онъ росъ, и незамѣтно, въ долгихъ бесѣдахъ, поучался отъ дядя Максима всему, что̀ было доступно его возрасту. Главнѣйшими впечатлѣніями его жизни сдѣлались мало-по-малу впечатлѣнія звуковыя; смутно замиравшая пѣсня давала ему понятіе о дали; всплескъ рѣки, звучавшій внизу подъ утесомъ, говорили о высотѣ этого утеса, а весенній громъ, перекатывающійся по небу, возбуждалъ въ немъ представленіе о просторѣ поднебесныхъ высотъ. Такимъ образомъ, даже идея пространства выражалась для мальчика на языкѣ звуковъ; слухъ его былъ развитъ до того, что онъ легко слышалъ даже звонъ крыльевъ летающей мухи; нуженъ былъ только толчекъ, чтобы въ головѣ мальчика возникло понятіе о звукахъ гармоническихъ, о мелодіи. Толчокъ этотъ былъ вскорѣ данъ.

Въ усадьбѣ Попельскихъ жилъ работникъ Іохимъ; полюбилась Іохиму дворовая дѣвка сосѣдняго пана, Марья, но исканія хохла не увѣнчались успѣхомъ. Марьѣ больше пришелся по сердцу барскій камердинеръ. Іохимъ былъ натурой тонкой, художественной; выучившись самоучкой играть на скрипкѣ, онъ пользовался далеко по окрестностямъ славой самаго искуснаго музыканта. «Когда игралъ Іохимъ»,—говоритъ авторъ:—«даже старый Янкель, аккомпанировавшій ему на контрабасѣ, воодушевлялся до послѣдней степени. Что-же и говорить о крещеномъ народѣ, у котораго ноги устроены изстари такимъ образомъ, что при первыхъ звукахъ веселаго плясоваго напѣва сами начинаютъ подгибаться и притопывать?»

Однако Іохиму было не до плясовыхъ напѣвовъ. «Вострая Марья» не выходила у него изъ головы; грусть, наполнявшая его сердце, просилась наружу, излиться въ звукахъ, и скрипка показалась почему-то ему неподходящимъ для этого инструментомъ. Онъ сталъ бродить по болотамъ, пока не отыскалъ тамъ подходящаго ствола ивы; изъ этого ствола на славу вышла звонкая дудка,—и вотъ по тихимъ вечерамъ стали разливаться изъ конюшни и плакать въ воздухѣ задушевные звуки: то усатый Іохимъ выплакивалъ ими свою скорбь и свою любовь.

Чуткій ко всякому звуку, Петръ не могъ, разумѣется, не услышать этихъ музыкальныхъ упражненій. Долгое время онъ не въ состояніи былъ оты-

скать ихъ виновника, понять ихъ причину; они долетали къ нему въ спальню въ тихій часъ сумерокъ и глубоко волновали въ немъ начинавшіе уже пробуждаться музыкальные инстинкты; проснувшись утромъ послѣ такой музыки, онъ, къ большому недоумѣнію своей матери, долго и настойчиво разспрашивалъ ее: «Что это было, что это вчера было такое?» Между тѣмъ звуки продолжали раздаваться по-прежнему каждый вечеръ. Однажды Петръ не могъ долѣе удержаться; босикомъ всталъ онъ съ свой постельки и ощупью направился на-встрѣчу зовущей его мелодіи; она привела его въ конюшню. Съ этой минуты между Іохимомъ и Петромъ завязалась странная дружба, и вмѣстѣ съ тѣмъ началась для Петра новая эра развитія.

Мы дошли теперь до одного изъ самыхъ глубокихъ и самыхъ поэтичныхъ мѣстъ повѣсти, въ художественныхъ образахъ разрѣшающаго тайну искусства. Пани Попельская стала ревновать Петра къ его новому другу; но дудка была слишкомъ могущественной союзницей Іохима для того, чтобъ эту дружбу можно было легко разорвать; пани Попельская поняла, что она можетъ бороться съ Іохимомъ только на томъ-же поприщѣ,—на поприщѣ музыки,— и вотъ скоро въ помѣщичьихъ хоромахъ установился выписанный изъ города дорогой рояль, и между нимъ и скромной ивовой дудкой завязалась борьба на жизнь и на смерть. Пани Попельская вспомнила, что когда-то, въ годы своего ученія, и она считалась не по-

слѣдней піанисткой въ кіевскомъ пансіонѣ, гдѣ «нѣмецкая дѣвица Клапсъ» въ продолженіе многихъ лѣтъ выламывала ея пальцы для приданія имъ надлежащей бѣглости; старанія дѣвицы Клапсъ увѣнчались успѣхомъ, и на публичномъ экзаменѣ Анна Михайловна исполненной ею пьесой стяжала обильныя похвалы себѣ и своей учительницѣ. Казалось, гдѣ было спорить бѣдной дудкѣ, скромно звучавшей подъ закорузлыми, неуклюжими пальцами Іохима, съ дорогимъ иностраннымъ инструментомъ и съ выдресированною ловкостью рукъ ученицы дѣвицы Клапсъ! Но на самомъ дѣлѣ оказалось иное: когда съ клавишъ рояля сорвались въ первый разъ бѣглые, рѣзвые, но мертвые и бездушные звуки какой-то музыкальной «штучки», переполненной техническими тонкостями и музыкальными хитросплетеніями,—Іохимъ, присутствовавшій при этомъ первомъ опытѣ, только презрительно улыбнулся, а маленкій Петръ былъ ошеломленъ, удивленъ, испуганъ,—но не восхищенъ. Простое непосредственное чувство подсказало ему, что эти звуки — что-то не то, что въ нихъ чего-то не хватаетъ и что это *что-то* и есть именно великая тайна искусства; а не хватало въ нихъ немногаго на первый взглядъ: не хватало *души*, не хватало рвущагося изъ сердца чувства? Пани Попельская потерпѣла рѣшительное пораженіе, а дудка надолго еще осталась побѣдительницей.

Итакъ, одна изъ причинъ, по которой побѣдилъ Іохимъ, намъ извѣстна: изъ шести отверстій его

дудки вырывались согрѣтые неподдѣльнымъ чувствомъ звуки; но была тутъ и другая тайна: *простая малороссійская дудка была сродни окружающей ее природѣ;* всѣ тихіе звуки вечера такъ нераздѣльно сливались съ ея звуками, что трудно было иногда отличить, гдѣ начинается музыка природы и гдѣ кончается гармонія, воспроизведенная человѣческимъ искусствомъ. Съ тихими мелодіями Іохимовой дудки сливались и гудѣніе пролетающаго жука, и звонъ струи въ ручьѣ, и осторожный окликъ кулика, перелетающаго съ отмели на отмель надъ тихой, словно застывшей, рѣкой, а издали долетала и сплеталась со всѣмъ этимъ заунывная малороссійская пѣсня, минорные переливы которой какъ нельзя болѣе гармонировали съ музыкой Іохима; однимъ словомъ, дудка его была въ Украйнѣ—у себя на родинѣ, опиралась на родную природу, на родныя пѣсни, на родныя преданія,—иначе говоря, искусство Іохима было искусствомъ *народнымъ,* если позволительно только примѣнить къ простымъ мелодіямъ дудки такой книжный терминъ. Народность и задушевность — вотъ тѣ два главные союзника, которые доставили побѣду Іохиму.

Та-же самая борьба между простой дудкой и фортепіано наблюдается въ переносномъ смыслѣ и въ другихъ областяхъ искусства вообще, и въ поэзіи въ особенности. Возьмите, напр., хоть извѣстное стихотвореніе Жадовской: «Ты скоро меня позабудешь, но я не забуду тебя; ты въ жизни разлюбишь,

полюбишь, но я никого, никогда». Если хотите, это съ перваго взгляда и на стихи непохоже; обратите вниманіе хоть на риѳмы: «позабуд*ешь*», «разлюб*ишь*», «*тебя*»... «нико*гда*»... Ни одной полной риѳмы,—а между тѣмъ стихотвореніе это извѣстно всѣмъ и каждому и распѣвается по всему широкому лицу земли русской; такой успѣхъ доставили ему его простота, искренность и то горячее чувство, которое дышетъ въ этихъ неловкихъ по постройкѣ строкахъ. Для сравненія я приведу другое стихотвореніе, виртуозно переведенное съ французскаго г. Андреевскимъ. Оно называется «Эхо»:

Я громко сѣтовалъ въ пустынѣ:
«Кто будетъ близокъ мнѣ отнынѣ,
Какъ были близки сердцу вы?»
Мнѣ эхо вторило: «увы»!
«Какъ буду жить больной и скучный,
Томимъ печалью неотлучной
И рядомъ горестныхъ годинъ»?
Мнѣ эхо вторило: «одинъ»!
«Но гдѣ укрыться? Міръ—могила.
Мнѣ жизнь безцѣльная постыла.
Гдѣ прежній блескъ, и шумъ, и рай»?
Сказало эхо: «умирай».

Не знаю, какъ на васъ, но на меня эта пьеса производитъ странное впечатлѣніе, которое едва-ли было, какъ въ интересахъ его французскаго автора, такъ и въ интересахъ переводчика. Мнѣ представляется при этомъ не одинокій человѣкъ, бродящій въ поляхъ и громко сѣтующій на свою судьбу, а самъ авторъ, сидящій за лексикономъ и выбира-

ющій изъ него нужные для задуманнаго эффекта каламбуры. Г. Андреевскій, конечно, не виноватъ въ томъ, что французская поэзія, со времени образованія въ ней школы такъ-называемыхъ «Парнасцевъ», ушла вся въ отдѣлку одной внѣшней формы, и что направленіе это отразилось и на Франсуа Коппе, изъ котораго сдѣланъ этотъ переводъ и который наиболѣе держится реальнаго направленія. Какъ переводчикъ г. Андреевскій блистательно выполнилъ свою задачу; но все-таки если романсъ Жадовской мы можемъ сравнить съ простыми мелодіями Іохимовой дудки, то эту пьеску несомнѣнно слѣдуетъ признать однородной съ той бѣглой, хитросплетенной, музыкальной «штучкой», которую такъ неудачно разыграла въ первый разъ г-жа Попельская. Къ сожалѣнію, это стремленіе къ вычурности, прикрывающее обыкновенно недостатокъ чувства, въ послѣднее время все болѣе и болѣе захватываетъ и нашу поэзію. Съ нѣкотораго времени даровитый г. Фофановъ въ своихъ стихахъ «словечка въ простотѣ не скажетъ, все съ ужимкой», воспѣвая то «Зевса, сидящаго на *огненномъ* тронѣ», то «*усики свинцово-сѣрой пыли* (?)», которые «въ лучахъ зари рѣяли и плыли, какъ блѣдный рой усталыхъ танцовщицъ». Даже такой сравнительно крупный талантъ, какъ г. Минскій, и тотъ не избѣжалъ этого явленія, а между тѣмъ мнѣ памятны еще—да и всѣмъ, вѣроятно, памятны—его «Бѣлыя ночи», въ которыхъ были, напр., такія строки: «Къ тѣмъ пѣснямъ не

муза меня вдохновляла: *что сердце терзало—рука написала;* то пѣсни, что долго въ душевной тѣни таилъ я, покуда таить было мочи; то пѣсни, зачатыя въ черные дни, рожденныя въ бѣлыя ночи». Какіе это прекрасные, полные простоты и искренности стихи!

У меня не достанетъ мѣста говорить такъ-же подробно о всей повѣсти, какъ я дѣлалъ это до сихъ поръ; она возбуждаетъ слишкомъ много чувствъ и мыслей, и трудно удержаться, чтобы по поводу ихъ не отклониться въ сторону. По-неволѣ поэтому мнѣ приходится сжать мое изложеніе. Въ концѣ концовъ, дудкѣ стало не подъ силу бороться съ роялемъ. Пани Попельская тоже поняла тайну Іохимова успѣха; она стала работать, обращать вниманіе на внутреннее содержаніе своей игры и наконецъ у самого Іохима вырвалось: «О то-жъ якъ гарно! Бачь, яка вона штука»!

Заинтересовался новымъ инструментомъ и мальчикъ, и самъ началъ прикасаться иногда къ клавишамъ рояля. Но тутъ случилось нѣкоторое событіе, котораго мы не можемъ пройти молчаніемъ. Петръ любилъ уединеніе. Онъ бралъ съ собой дудку, уходилъ куда-нибудь въ окрестности и тамъ игралъ или дремалъ, откинувшись на траву и наслаждаясь теплотой украинскихъ лѣтнихъ вечеровъ. Мать обыкновенно отдавала приказъ не нарушать его одиночества; но однажды, вблизи отъ себя, онъ услышалъ чей-то голосъ, осмѣлившійся не признавать

власти его матери. «Уйдите»,—говоритъ Петръ маленькой дѣвочкѣ съ золотистыми кудрями,—мама приказала, чтобъ сюда ко мнѣ не ходили».—«А моя мама позволила мнѣ ходить надъ рѣкой»,—отвѣчала дѣвочка. Гнѣвъ овладѣлъ Петромъ; онъ приподнялся и заговорилъ: «Уйдите, уйдите!» Неизвѣстно чѣмъ кончилась-бы эта сцена, если-бы Петра не отозвалъ Іохимъ *).

На слѣдующій день онъ самъ окликнулъ дѣвочку. Между дѣтьми завязался разговоръ. «Кто тебя выучилъ такъ хорошо играть на дудкѣ?»—«Іохимъ выучилъ».—«Очень хорошо! Только... отчего ты такой сердитый?»—«Я не сержусь на васъ».—«Ну, такъ и я не сержусь... Давай играть вмѣстѣ»...—«Я не умѣю играть съ вами».—«Не умѣешь играть?... Почему?»... — «Такъ». — «Нѣтъ, почему-же?» — «Такъ»,—отвѣтилъ онъ чуть слышно и еще болѣе потупился. Знакомство продолжало скрѣпляться. Слѣпой наконецъ почувствовалъ желаніе узнать, съ кѣмъ онъ говоритъ, и употребилъ для этого единственный, доступный ему, способъ: взявъ лѣвой рукой дѣвочку за плечо, онъ ощупалъ ея волосы, потомъ вѣки и, наконецъ, быстро пробѣжалъ пальцами по лицу, изучая незнакомыя ему черты. Эвелина, не догадавшаяся, что мальчикъ слѣпъ, ужасно разсердилась на Петра. «Чувство жгучей боли и обиды подступило къ горлу мальчика и онъ заплакалъ». Эвелинѣ стало

*) Выписываю почти буквально изъ разсказа.

жаль его. «Послушай», заговорила она, о чемъ ты плачешь? Ты думаешь, что я нажалуюсь? Ну, не плачь, я никому не скажу». Тутъ мы принуждены сдѣлать еще одну большую выписку. Мы увѣрены, что читатели не посѣтуютъ на насъ за нее и оцѣнятъ по достоинству ту теплоту и тотъ талантъ, съ которыми передалъ г. Короленко эту сценку—одну изъ самыхъ трогательныхъ во всемъ разсказѣ: «Слово участія и ласковый тонъ вызвали въ мальчикѣ еще бо́льшую нервную вспы : ку плача. Тогда дѣвочка присѣла около него на корточки и стала успокоивать его по-немногу, гладя рукой его волосы. Потомъ она, съ чисто-женской настойчивой мягкостью, приподняла его голову и стала вытирать платкомъ его заплаканные глаза, точно мать, которая успокоиваетъ огорченнаго ребенка.

— Ну, ну!—заговорила она шутливымъ тономъ взрослой женщины:—Я давно не сержусь. Я вижу, ты жалѣешь, что напугалъ меня...

— Я не хотѣлъ напугать тебя,—отвѣтилъ онъ, глубоко вздыхая, чтобы подавить нервные приступы.

— Ну, ну, хорошо! Я не сержусь... Ты, вѣдь, больше не будешь,—говорила она, приподнимая его съ земли и стараясь усадить рядомъ съ собою.

Онъ повиновался. Теперь онъ сидѣлъ, какъ прежде, лицомъ къ сторонѣ заката, и когда дѣвочка опять взглянула на это лицо, освѣщенное красноватыми лучами, оно опять показалось ей страннымъ. Въ глазахъ мальчика еще стояли слезы, но глаза эти

были, по-прежнему, неподвижны; черты лица то и дѣло передергивались отъ приступовъ дѣтскаго плача, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ виднѣлось не дѣтское, глубокое и тяжелое горе.

— Какой ты, право... странный,—сказала она съ задумчивымъ участіемъ.

— Я не странный:—отвѣтилъ мальчикъ съ жалобною гримасой.—Нѣтъ, я не странный... Я... я—слѣпой!

— Слѣп-о-ой?—протянула она на-распѣвъ, и голосъ ея дрогнулъ, какъ будто это грустное слово, тихо произнесенное мальчикомъ, нанесло неизгладимый ударъ въ ея маленькое женственное сердце.

— Слѣп-о-ой?—повторила она еще болѣе дрогнувшимъ голосомъ и, какъ будто ища защиты отъ охватившаго всю ее неодолимаго чувства жалости, она вдругъ обвила шею мальчика руками и прислонилась къ нему лицомъ.

Пораженная внезапностью печальнаго открытія, маленькая женщина не удержалась на высотѣ своей солидности и, превратившись вдругъ въ огорченнаго и безпомощнаго въ своемъ огорченіи ребенка, она, въ свою очередь, горько и неутѣшно заплакала.

Читатель, разумѣется, догадался, что знакомство Петра съ Эвелиной не оборвалось на этой встрѣчѣ. Съ того момента, какъ она узнала, что Петръ слѣпъ, ей казалось, по выраженію г. Короленко, «что въ сердце ея воткнутъ ножъ, и что если-бы кто-нибудь попытался этотъ ножъ вынуть, т. е. разлучить ее

съ Петромъ, то оно-бы, это чуткое сердце, истекло кровью». Бульварный романистъ нагородилъ-бы при этомъ случаѣ всевозможныхъ ужасовъ. Онъ влюбилъ-бы Эвелину въ кого-нибудь другого, заставилъ-бы Петра страдать отъ ревности, и такъ далѣе, и такъ далѣе. Но г. Короленко не охотникъ до дешевыхъ эффектовъ и шаблоннаго драматизма; онъ глубоко понялъ, что положеніе его героя достаточно трагично и безъ этихъ измышленій и, не смотря на то, что съ совершеннолѣтіемъ Петра, въ усадьбу Попельскихъ хлынула новая жизнь и что ее стала посѣщать молодежь (выдумка дяди Максима, желавшаго испытать этимъ средствомъ силу привязанности Эвелины), молодая дѣвушка безъ всякихъ препятствій дѣлается женою Петра; объясняетъ она ему объ этомъ въ высшей степени просто: когда однажды слѣпой загрустилъ и ушелъ изъ веселой комнаты въ темную аллею, она послѣдовала за нимъ, утѣшила его, какъ могла, и въ заключеніе сказала ему: «Полно, не горюй, что ты безполезенъ,—вѣдь вотъ дядя Максимъ воевалъ, какъ могъ, и теперь живетъ, какъ можетъ. Ну, и мы»?—«Ты говоришь *мы*,—спросилъ слѣпой,—почему?»—«Потому что... ну, да, потому что вѣдь ты на мнѣ женишься и, значитъ, *наша* жизнь будетъ одинакова»—«Я? на тебѣ?.. Значитъ... ты за меня... за-мужъ?»—«Ну да, ну да, конечно»,—отвѣтила она въ торопливомъ волненіи,—«какой-же ты глупый! Неужели тебѣ никогда не при-

ходило это въ голову?—Вѣдь это-же такъ просто: на комъ-же тебѣ жениться, какъ не на мнѣ?»...

Вотъ и все, читатель. У автора эта сцена немногимъ распространеннѣе, чѣмъ я привелъ ее и, не смотря на эту свою краткость, когда вы читаете ее въ общей связи разсказа, она вызываетъ у васъ невольныя слезы. Надо отдать справедливость г-ну Короленко,—онъ умѣетъ рисовать дѣйствительно поэтическія картины.

Необходимость заставляетъ насъ досказать конецъ этюда г. Короленко въ двухъ словахъ. Юноша Петръ сталъ серьезно учиться музыкѣ по приспособленнымъ для слѣпыхъ рельефнымъ нотамъ. Однажды онъ взволновалъ весь домашній кружокъ мастерскимъ исполненіемъ одной пьесы. Но Петръ все-же продолжалъ считать себя самымъ несчастнымъ въ мірѣ человѣкомъ. Выше я уже говорилъ, какимъ образомъ излѣчилъ его отъ этого чувства дядя Максимъ: онъ свелъ его на ярмарку и далъ ему возможность услышать пѣніе слѣпыхъ нищихъ. И вотъ, нѣсколько лѣтъ спустя, въ Кіевѣ, въ контрактовомъ залѣ, собралась однажды многолюдная толпа. Въ этотъ вечеръ давалъ концертъ слѣпой музыкантъ. Успѣхъ былъ громадный. Рояль жилъ подъ его пальцами, и вдругъ на немъ прозвучалъ какой-то вопль:—«вырвался, прозвенѣлъ и замеръ». Вотъ онъ повторился опять. Максимъ узналъ ее, горькую пѣсню слѣпыхъ. «Подайте сліпенькимъ, ради Христа». Зала дрогнула, будто надъ ней разлился ударъ...

Повѣсть заканчивается слѣдующими прекрасными строками: «Старый ветеранъ (Максимъ) опустилъ голову и думалъ: «Да онъ прозрѣлъ»... На мѣстѣ слѣпаго и неутомимаго эгоистическаго страданія онъ носитъ въ душѣ чужое горе, онъ его чувствуетъ, видитъ... И въ его рукахъ великая сила!...

И старый солдатъ все ниже опускалъ голову. Онъ сдѣлалъ свое дѣло, онъ не даромъ прожилъ на свѣтѣ; ему говорили объ этомъ, полные силы, властные звуки, стоявшіе въ залѣ, царившіе надъ толпой»!...

ЗАМѢТКИ ПО ТЕОРІИ ПОЭЗІИ.

Смѣлое предсказаніе покойнаго Писарева, повидимому, не оправдывается: не только никому не приходитъ на мысль сажать «послѣдняго» поэта въ банку со спиртомъ и выставлять его въ музеѣ, какъ нѣчто уродливое, рѣдкое и анормальное, но наоборотъ,—русская поэзія въ послѣдніе дни замѣтно поднимаетъ изъ праха свою голову. Сборники стихотвореній выходятъ одинъ за другимъ, на книжномъ рынкѣ на нихъ есть несомнѣнный спросъ. Въ обществѣ о нихъ говорятъ, журнальные рецензенты по поводу ихъ ломаютъ перья, выдвигая изъ среды дебютантовъ болѣе талантливыхъ и освѣщая передъ читающей публикой характерныя стороны ихъ дарованій. Такимъ образомъ недавній еще вопросъ о томъ, имѣетъ-ли поэзія право на существованіе, рѣшился безъ критическихъ дебатовъ, какъ-то нечаянно, самъ собой: существуетъ,— значитъ, имѣетъ и право существовать. И читателю, и критикѣ приходится въ данномъ случаѣ не мудрствовать лукаво, а просто признать фактъ, стоящій передъ

глазами, и ироническія строки Лермонтова «смѣшно-жъ терять для звучныхъ строфъ златое время,—въ нашемъ вѣкѣ зрѣломъ, извѣстно вамъ, всѣ заняты мы дѣломъ»,—потеряли теперь свою соль. Русскій читатель, выростая и развиваясь, сбросилъ съ себя обаяніе остроумной, бойкой, мѣткой, но односторонней критики Писарева и пересталъ бояться, чтобы кто-нибудь не засталъ его нечаянно за чтеніемъ стиховъ. Поэзія получила несомнѣнное право гражданства въ нашей литературѣ и цитатами изъ поэтовъ, какъ и въ доброе старое время, мы подкрѣпляемъ житейскую и литературную нашу рѣчь.

Что-же такое, на самомъ дѣлѣ, она, эта поэзія? Какова ея сфера, въ чемъ ея задачи? Какіе шаги сдѣлала она впередъ съ тѣхъ поръ, какъ замолкли голоса Лермонтова и Пушкина и вмѣстѣ съ ними—поучающій и анализирующій голосъ ихъ комментатора, Бѣлинскаго? Да не покажутся читателю праздными эти вопросы; немногіе даже изъ любителей стиховъ могли-бы на нихъ отвѣчать. Одному нравится музыкальность стиха любимаго поэта, другому образность, третьему задушевность, — но все это черты частныя, мелкія; точнаго критерія нѣтъ ни у кого, и многіе изъ читателей не рѣшатся высказать свое мнѣніе о стихотвореніи, пока не взглянутъ на его подпись: Богъ его знаетъ, можетъ быть, оно и хорошо, а можетъ быть и дурно. За то какъ смѣло высказывается такой судья, увидя, что стихотвореніе принадлежитъ «извѣстности».—«А, N. N!..

Талантливый человѣкъ!.. Его X. похвалилъ въ своемъ фельетонѣ»... Вотъ и вся мотивировка,—какъ будто поэзія есть что-то темное, неясное, неточное и случайное! Между тѣмъ и у поэзіи есть свои опредѣленные законы, зная которые, каждый можетъ самостоятельно судить о поэтическомъ произведеніи, если только онъ не лишенъ вовсе дара пониматъ поэзію. Но прежде, чѣмъ перейти къ нимъ, нужно совершенно опредѣленно умѣть отвѣтить на вопросъ,—что̀ такое поэзія,—такъ какъ ея законы сами собой вытекаютъ изъ этого отвѣта.

Пониманіе искусства вообще есть особый даръ, особый талантъ. Можно сказать, что между поэтомъ и человѣкомъ, понимающимъ поэзію, та разница, что у перваго больше таланта, чѣмъ у втораго, но что у обоихъ этотъ талантъ есть. Даръ этотъ обусловливается особенностями организаціи и степенью воспріимчивости лица, хотя въ своемъ зачаточномъ состояніи онъ находится у каждаго. Въ студіи любителя скульптуры мнѣ пришлось наблюдать однажды молодую крестьянскую дѣвушку, послужившую ему случайной моделью. Оправившись отъ смущенія и разговорившись, она никакъ не могла понять, на что̀ художнику понадобилась большая глиняная кукла, надъ которой онъ такъ старательно и вдумчиво работалъ. Ее удивляли и смѣшили его горячность, нетерпѣніе, вспышки художническаго отчаянія и творческаго восторга. Очевидно, она чувствовала себя такъ-же, какъ почувствовалъ-бы каждый изъ

насъ, вдругъ увидя, что его знакомый, считающійся всѣми за дѣльнаго и серьезнаго человѣка, увлекается пусканіемъ мыльныхъ пузырей. Попади та-же самая дѣвушка въ другія условія жизни—и даръ пониманія искусства могъ-бы у нея развиться. Въ средѣ интеллигентной даръ этотъ развитъ въ большей степени,—но и въ ней не рѣдкость люди, для которыхъ искусство или какая-нибудь его отрасль—каменный идолъ, въ капищѣ котораго слѣпцы приносятъ нелѣпыя жертвы, когда рядомъ широко и свѣтло открыта дверь въ храмъ другаго истиннаго бога—науки и знанія. Рѣдко, очень рѣдко выдается натура, которой доступны всѣ роды искусства: одинъ не понимаетъ музыки, другой, стоя передъ картиной, никакъ не можетъ увидѣть въ ней живущую и дышащую природу, и его глазъ различаетъ только ткань полотна, да разноцвѣтные мазки красокъ; для третьяго непонятно, зачѣмъ понадобилось поэту изломать на ровныя строки человѣческую рѣчь и заострить каждую строку пѣвучей рифмой. Бѣлинскій, человѣкъ съ несомнѣнно-развитымъ эстетическимъ чувствомъ, былъ совершенно равнодушенъ къ музыкѣ. За то богатая натура Лермонтова отзывалась на всѣ роды искусства. Къ сожалѣнію, люди, не обижающіеся на природу за то, что она лишила ихъ какого-нибудь выдающаго по силѣ таланта, не хотятъ обыкновенно добросовѣстно сознаться, что они лишены дара пониманія искусства, не признаютъ въ этомъ отношеніи власти природы. Чаще всего они поступаютъ,

какъ Ломоносовъ, сказавшій, что его нельзя отставить отъ академіи, а можно только академію отставить отъ него. Они, такъ сказать, «отставляютъ отъ себя искусство»,—не признаютъ его вовсе, или толкуютъ о немъ вкривь и вкось. Послѣднее свойство нерѣдко можно встрѣтить даже и у присяжныхъ цѣнителей и судей. Вотъ причина, почему толки о художественныхъ произведеніяхъ обыкновенно такъ разнорѣчивы. Нельзя спорить противъ того, что a+b=a+b, но можно назвать Пушкина бездарнымъ и Болеслава Маркевича—геніемъ

Итакъ, пониманіе искусства есть низшая степень художественнаго таланта. А такъ какъ присутствіе или отсутствіе у человѣка таланта обусловливается естественными, физіологическими причинами, то слѣдовательно и даръ понимать искусство есть даръ естественный, физіологическій. Отсюда и законы искусства должны быть не произвольными, не выдуманными критикомъ или художникомъ, а естественными, природными. Пояснимъ это примѣромъ: Мы удовлетворяемъ свой аппетитъ не всѣмъ, что попадется намъ подъ-руку, а тѣмъ, что *питательно*. Никому, напр., не приходитъ въ голову грызть орѣховую скорлупу или глотать камень, растертый въ порошокъ. Самый вкусъ человѣка обусловливается именно этимъ физіологическимъ требованіемъ *питательнаго*. Такъ и потребность эстетическихъ впечатлѣній, которую можно бы назвать духовнымъ голодомъ, обусловливается закономъ духовной пита-

тельности,—закономъ, слѣдовательно, не выдуманнымъ, а естественнымъ. Насъ спросятъ: Какъ-же въ такомъ случаѣ искусство можетъ прогрессировать и развиваться? Естественные законы, законы природы, постоянны. Но вѣдь предки наши находили-же возможнымъ удовлетворять свой аппетитъ сырымъ мясомъ, а мы считаемъ нужнымъ его жарить и приправлять! Изъ этого не слѣдуетъ, чтобы измѣнилась сущность закона питанія,—по-прежнему человѣкъ выбираетъ себѣ въ пищу вещества болѣе питательныя;—измѣнился только самый организмъ человѣка, его требованія, а законъ остался тѣмъ-же. Такъ и нравственный организмъ человѣка мѣняется съ каждымъ поколѣніемъ, а слѣдовательно мѣняются и формы искусства. Остается неизмѣннымъ только тотъ законъ, что искусство должно отвѣчать потребностямъ этого организма.

Область поэзіи—область чувства. Основной естественный законъ ея состоитъ въ томъ, что она должна выражать и будить въ человѣкѣ свойственныя его натурѣ чувства.

Откуда мы взяли это? Какія соображенія дали намъ право поставить этотъ законъ? Для того, чтобы меня поняли, я долженъ въ одномъ условиться съ читателемъ: въ моемъ лицѣ ему придется признать человѣка, не лишеннаго способности понимать поэзію.

Законъ нашъ мы вывели такъ, какъ выводятся всѣ законы природы,—изъ нея самой. Этимъ именно

свойствомъ и отличается естественный законъ отъ закона выдуманнаго, произвольнаго. Вообразите себѣ чудака, который повѣсилъ бы въ своей прихожей мѣховую шубу и требовалъ бы отъ каждаго входящаго съ улицы въ его домъ, чтобъ онъ надѣвалъ эту шубу! Тутъ законъ произвольный обусловливалъ бы извѣстное дѣйствіе. Законъ природы требуетъ другаго: входя въ тепло, человѣкъ снимаетъ съ себя лишнюю, грѣющую одежду. Въ этомъ разница между двумя законами: въ первомъ случаѣ функція вытекаетъ, какъ слѣдствіе закона, во второмъ—законъ вытекаетъ изъ функціи. Такъ какъ мы уже установили, что законы искусства естественны,—они тоже должны вытекать изъ функцій таланта, т. е. художественныхъ произведеній. Довольно пеленокъ и рамокъ, произвольно сдерживавшихъ ростъ искусства! Зрителю все равно, соблюдено-ли въ драмѣ условіе трехъ единствъ, или нѣтъ. Если драма отвѣчаетъ своимъ естественнымъ законамъ, она и безъ соблюденія единствъ хороша. Читателю все равно, есть-ли въ данномъ разсужденіи вступленіе, пропозиція и конклюзія, какъ требовала этого риторика. Если разсужденіе логично,—оно во всякомъ случаѣ хорошо. Мы имѣли право вывести нашъ основной законъ поэзіи потому, что онъ неизбѣжно вытекаетъ изъ анализа произведеній, признанныхъ нами за поэтическія. Вся наша работа въ данномъ случаѣ сводилась къ обобщенію полученныхъ изъ анализа данныхъ,—обыкновенный путь, кото-

рымъ слагаются естественные законы. Теперь познакомимся съ ходомъ этой работы.

Еслибы я предложилъ на выборъ читателю два слова: «садъ» и «огородъ» и спросилъ его, которое изъ нихъ поэтичнѣе,—я думаю, отвѣтъ былъ бы несомнѣненъ и опредѣлененъ. Считаю нужнымъ оговориться—я имѣю въ виду обыкновеннаго читателя, простодушно говорящаго, что̀ онъ думаетъ, а не того проницательнаго читателя, съ которымъ нѣкогда такъ упорно воевалъ извѣстный труженикъ русской мысли. Проницательный читатель непремѣнно придрался бы ко мнѣ, сталъ хитрить, доказывать, что это зависитъ отъ того, каковъ садъ и каковъ огородъ, однимъ словомъ, онъ блистательно доказалъ бы мнѣ и свой умъ, и свое критическое отношеніе ко мнѣ. Простодушный читатель вѣрно согласился бы со мной и въ томъ, что понятія «лунный свѣтъ» и «соловьиная пѣсня»—понятія поэтическія. Что̀ общаго во всѣхъ этихъ трехъ понятіяхъ? Всѣ они говорятъ *чувству* человѣка. Не правда-ли, что при словѣ «садъ» вамъ вспомнился извѣстный, знакомый вамъ садъ, и цвѣты, и ароматъ, и шорохъ листьевъ, и воспоминаніе это затронуло въ васъ *чувство* красоты? Примѣните тотъ же пріемъ къ слову «огородъ,—ваше чувство останется безотвѣтнымъ. Итакъ, есть понятія, которыя сами по себѣ могутъ быть названы поэтичными,—это такія понятія, которыя говорятъ нашему чувству. Разъ установивъ это, мы поймемъ, почему такъ высоко цѣнится стихъ Пушкина «мо-

розной пылью серебрился его бобровый воротникъ». Критика, приводя этотъ стихъ, указывала на способность Пушкина поэтизировать предметы, по сущности своей совершенно непоэтичные. Осыпавъ этотъ воротникъ морозной пылью,—серебряной на темномъ мѣхѣ,—Пушкинъ заставилъ его говорить *чувству* красоты; эта способность затронуть *чувство* и подразумѣвалась инстинктивно критикой подъ словомъ «опоэтизированіе».

Перейдемъ теперь отъ отдѣльныхъ понятій къ связнымъ мыслямъ. Я напомню читателямъ двѣ строки изъ извѣстнаго посланія Ломоносова къ Шувалову:

Не право о стеклѣ тѣ думаютъ, Шуваловъ,
Которые стекло чтутъ ниже минераловъ.

Съ точки зрѣнія техники, эти двѣ строки безупречны; размѣръ опредѣленный, скандирующій, рифма рѣдкая и богатая,—и въ то же время въ нихъ нѣтъ ни искры поэзіи, хотя, можетъ быть, мысль, выраженная ими, и вполнѣ справедлива. Рядомъ съ ними я поставлю двѣ строки изъ Лермонтова:

Печально я гляжу на наше поколѣнье:
Его грядущее иль пусто, иль темно.

Каждому ясно, что мысль Ломоносовскихъ стиховъ совершенно чужда области чувства, тогда какъ стихи Лермонтова служатъ выраженіемъ его. Приведу еще примѣръ прозаическихъ стиховъ, заимствованный, если не ошибаюсь, у Н. Курочкина:

Да и прожить иногда затруднительно
Литературнымъ трудомъ.

Къ этимъ двумъ строкамъ можно вполнѣ приложить все, что мы сказали о Ломоносовскомъ двустишьи. Какъ на искусственный образчикъ такого прозаизма, можно указать на извѣстную пародію Добролюбова (Конрада Лиліеншвагера), начинающуюся словами:

Сто сорокъ семь рублей и двадцать три копѣйки,—
Вотъ мѣсячный окладъ Семена Кузьмича.

Въ русской поэзіи не мало примѣровъ такихъ поэтовъ-прозаиковъ. Большая часть стихотвореній Розенгейма, значительная доля юмористическихъ и публицистическихъ произведеній Некрасова, нѣсколько пьесъ Полонскаго относятся къ этой области. Въ особенности грозитъ опасность впасть въ прозу поэтамъ, воспѣвающимъ такъ называемую гражданскую скорбь: они должны обладать въ значительной степени художественнымъ чувствомъ, чтобы не переступить границы, отдѣляющей поэзію отъ публицистики.

Намъ не разъ приходилось слышать отъ нѣкоторыхъ изъ современныхъ поэтовъ, что поэма—нѣсколько дѣланный и неудобный родъ творчества. И дѣйствительно, мало быть поэтомъ, чтобы написать поэму, надо для этого быть техникомъ, версификаторомъ, виртуозомъ. Связный и сложный разсказъ требуетъ отъ поэта огромной гибкости стиха, требуетъ именно способности «поэтизировать» раз-

ныя неизбѣжныя подробности, ничего не говорящія нашему чувству, а поэтому прозаичныя. Какъ, напримѣръ, описать костюмъ героя? Мастера поэзіи обыкновенно поступаютъ такимъ образомъ: они не перечисляютъ части одежды, а говорятъ о впечатлѣніи, производимомъ этимъ костюмомъ на *чувство* окружающихъ. Возьмемъ напр., хотя-бы извѣстное стихотвореніе «Грѣшница» графа А. К. Толстаго. Описывая наружность своей Грѣшницы и ея костюмъ, онъ говоритъ:

Вкругъ стана падая широко
Сквозныя ткани *дразнятъ око*,
Съ нагаго спущены плеча...
Ея и серьги, и запястья
Звеня, къ утѣхамъ сладострастья,
Къ восторгамъ пламеннымъ зовутъ.

Поэтъ обращаетъ здѣсь вниманіе читателя не на то, что на ней былъ надѣтъ какой-то сквозной костюмъ, а на то, что костюмъ этотъ *дразнилъ око*. Онъ не говоритъ: въ уши она вдѣла серьги и на руки надѣла запястья; онъ указываетъ на то, что эти серьги и запястья, звеня, говорили что-то чувству любви, звали къ пламеннымъ восторгамъ. Вышеприведенные два стиха: «да и прожить иногда затруднительно литературнымъ трудомъ» несомнѣнно выражаютъ мысль справедливую,—можетъ быть, къ сожалѣнію, слишкомъ справедливую,—но мысль эта ничего не говоритъ чувству и сама по себѣ не служитъ выраженіемъ какого-либо горячаго, страстнаго чувства.

Смотря на законы поэзіи, какъ на законы естественные, мы получаемъ возможность легче разобраться и въ другихъ вопросахъ, касающихся поэтическаго творчества. Однимъ изъ такихъ вопросовъ является вопросъ о тенденціозности, до сихъ поръ не рѣшеный критикой. Присматриваясь къ современнымъ поэтическимъ произведеніямъ и у насъ, и въ западной литературѣ, мы увидимъ въ нихъ два, рѣзко обозначенныя, теченія: одна группа поэтовъ исповѣдуетъ принципъ «искусства для искусства»; другая требуетъ отъ поэтовъ служенія злобѣ дня, служенія идеѣ добра и правды, насущнымъ нуждамъ и пульсу минуты. Кто правъ и кто виноватъ? Какой родъ творчества долженъ быть признанъ вѣрнымъ и какой искусственнымъ? Мнѣ кажется, обѣ группы правы и обѣ виноваты. Теорія искусства для искусства говоритъ, что поэзія сама въ себѣ заключаетъ свою цѣль и не должна стремиться быть утилитарной. Сторонники этого направленія—группа такъ-называемыхъ «парнасцевъ» у французовъ и наши русскіе парнасцы, Фетъ, Майковъ, Полонскій,—служатъ главнымъ образомъ чувству красоты. Вся такъ называемыя антологія держится на этомъ чувствѣ. Чувство красоты есть несомнѣнно элементъ поэтическій, и съ этой точки зрѣнія группа права. Степень дарованія ея представителей, степень творческой силы и производительности ихъ обусловливаютъ и степень поэтической цѣнности ихъ произведеній. Извѣстное стихотвореніе Майкова «Долго ночью

вчера я уснуть не могла», не менѣе извѣстная пьеса Полонскаго «Пришли и стали тѣни ночи», и даже осмѣянная нѣкогда Фетовская пьеса «Шопотъ, робкое дыханье»—произведенія несомнѣнно поэтическія, и по своей цѣнности занимаютъ не послѣднее мѣсто среди произведеній русскихъ поэтовъ. Но не менѣе поэтическая вещь и Некрасовская «Саша» или его-же «Рыцарь на часъ». Разница между произведеніями поэтовъ первой группы и произведеніями Некрасова только та, что Некрасовъ шире взглянулъ на поэзію, что онъ не ограничилъ ея рамками чувства красоты, а заставилъ ее служить, кромѣ того, и другимъ, высшимъ чувствамъ человѣческой природы, чувству добра, истины и справедливости. Такимъ образомъ Некрасовъ въ элементахъ своей поэзіи является шире, чѣмъ гг. Фетъ и Майковъ, хотя по степени таланта г. Майковъ, напр., ему не уступаетъ. Впрочемъ все, что мы говоримъ о послѣднемъ, относится только къ Майкову стараго времени; современный намъ Майковъ тоже зараженъ тенденціей; къ сожалѣнію, тенденція эта не можетъ быть симпатична большинству мыслящаго русскаго общества.

Итакъ поэты, проповѣдующіе искусство для искусства, напрасно думаютъ, что школа ихъ противоположна другой, тенденціозной школѣ: она является просто одною изъ ея составныхъ частей, служа только чувству красоты, тогда какъ вторая служитъ и чувствамъ справедливости, добра и истины. Не трудно видѣть, которой изъ этихъ двухъ группъ принадле-

житъ будущность. Тенденціозность есть послѣднее мирное завоеваніе, сдѣланное искусствомъ, есть пока послѣднее его слово. А искусство, сдѣлавъ такое завоеваніе, не отступаетъ назадъ, если только оно не противорѣчитъ его естественному закону. Очевидно, что недалеко время, когда поэзія тенденціозная поглотитъ поэзію чистую, какъ цѣлое свою часть, какъ океанъ поглощаетъ разбившуюся объ утесъ свою-же волну.

ПОЭТЫ И КРИТИКА.

I.

Статья о поэзіи въ передовомъ углу газеты—явленіе необычайное. Можно что угодно выдвигать на первый планъ, говорить о какой угодно «злобѣ текущаго дня»—объ опереткѣ, о кабакахъ,—можно избрать сюжетомъ статьи какое-нибудь грязное преступленіе и по поводу его излить въ страстной рѣчи свое гражданское негодованіе, можно, наконецъ, за неимѣніемъ подходящихъ сюжетовъ для бесѣды съ читателями, пуститься въ иностранную политику и, глубокомысленно пережевывая давно избитыя истины, трактовать хотя бы о шишкѣ на носу алжирскаго дея, особенно если это вліяетъ на расположеніе духа дея и, слѣдовательно, можетъ сопровождаться какими-либо «политическими осложненіями» и т. д.;—но ставить во главу статью, посвященную «вопросу» о поэзіи (кромѣ «вопросовъ» нынѣ ничего не встрѣчается)—это уже прямое нарушеніе всѣхъ требованій газетной моды. Мы,

впрочемъ, и ранѣе не шли по проторенной дорожкѣ господствующихъ теперь «направленій», и даже сдѣлали нѣсколько шаговъ, не совсѣмъ согласныхъ съ требованіями газетныхъ церемоніймейстеровъ, такъ что совершить новое нарушеніе условныхъ приличій намъ уже не такъ страшно... Мы не думаемъ, чтобы поэзія имѣла меньшее *жизненное* практическое значеніе и *воспитательное* вліяніе, чѣмъ иныя изъ празднословныхъ затѣй политиканствующаго ума. И какъ ни третировали поэзію въ послѣднее время, въ публикѣ вновь пробуждается сочувствіе къ гонимой подругѣ Аполлона, и начинаютъ уже появляться горячіе протесты во имя ея. Достаточно вспомнить извѣстное письмо «друга поэзіи», попавшее на зубокъ г. Буренина, и недавнюю горячую замѣтку въ «Новостяхъ» неизвѣстнаго автора по поводу смерти Омулевскаго. Все это, повидимому, свидѣтельствуетъ, что и для поэзіи настаютъ лучшіе дни. Давно пора!

Хотя и прошло то время, когда сапоги, даже и нечищенные, предпочитали Шекспиру, тѣмъ не менѣе и доселѣ положеніе бѣдной музы поэзіи въ ряду другихъ ея сестеръ крайне неказисто. Критика,—даже жалкая, современная критика,—посматриваетъ на поэзію полупрезрительно, съ высоты своего вершковаго величія. Возьмите, напр., отдѣлъ новыхъ книгъ любаго толстаго современнаго журнала: пока рецензентъ разбираетъ философское или научное произведеніе, онъ выражается весьма тор-

жественно, серьезнымъ, «высокимъ штилемъ»; о романѣ и повѣсти, въ зависимости отъ ихъ содержанія, пишется или «среднимъ», или «низкимъ штилемъ»; что же касается до стихотвореній—ихъ неизбѣжнымъ удѣломъ является одинъ только «низкій штиль». У рецензента сразу прибываетъ и увѣренности, и развязности, и игривости, такъ какъ онъ отлично знаетъ, что въ наше время написать критическую статью о поэтическомъ произведеніи—вещь весьма нехитрая: въ началѣ необходимо коротенькое вступленіе, въ которомъ обыкновенно проводится та справедливая мысль, что «наше время» бѣдно поэтическими талантами; затѣмъ слѣдуетъ самый разборъ по одному изъ слѣдующихъ двухъ шаблоновъ: критикъ пишетъ: «Принимая во вниманіе эту бѣдность, нельзя пройти молчаніемъ недурные «*стишки*» господина такого-то (имя рекъ); міросозерцаніе поэта грустное (грустное — это неизбѣжно), ему нечуждо чувство гражданской скорби (выписка)... Какъ видитъ читатель, стихотворенію этому нельзя отказать въ извѣстной долѣ «теплоты и силы». Затѣмъ еще два, три образчика стиховъ— и статейка оканчивается замѣчаніемъ, смыслъ котораго клонится къ тому, что теперь, когда стихотворная рѣчь достигла значителеной степени выработки, писать стихотворенія—мудрость небольшая. Все это бываетъ написано обыкновенно такимъ небрежнымъ тономъ, что похвала чуть-чуть не оказывается на самомъ дѣлѣ грубой бранью. Второй ша-

блонъ также несложенъ: Вступленіе въ немъ то же, что и въ первомъ; затѣмъ сообщается, что такой-то (опять имя рекъ) выпустилъ свой сборникъ, представляющій собой верхъ курьеза. За обращикъ разбора берется почтовый ящикъ зубоскальствующихъ журналовъ, и все заканчивается тою же замѣткой о выработанности въ наше время стиха, но съ укоромъ, примѣненнымъ къ погрѣшностямъ автора. Не смотря на діаметрально противоположный смыслъ обѣихъ замѣтокъ, на авторовъ онѣ производятъ одинаковое впечатлѣніе: они чувствуютъ себя въ положеніи взрослаго, серьезнаго человѣка, котораго его камердинеръ засталъ за пусканіемъ мыльныхъ пузырей, и разница между ними только та, что одинъ изъ нихъ пускаетъ эти пузыри удачно, а другой—нѣтъ.

Прежде чѣмъ разбирать, насколько такого рода критика удовлетворяетъ своему назначенію, остановимся на одномъ ея излюбленномъ положеніи, на фразѣ: «Время наше бѣдно поэтическими талантами». Не странно-ли, чуть не ежедневно печатно устанавливая фактъ нашей бѣдности на такого рода таланты, ограничиваться по этому поводу одними только казенными изъявленіями сожалѣнія, да платоническими вздохами, не утруждая себя неизбѣжнымъ вопросомъ: «Да гдѣ же причина этой бѣдности, гдѣ ея корень? Или, можетъ быть, поэзія и стихотворный складъ рѣчи—принадлежность только дѣтства человѣчества, какъ игрушки—принадлеж-

ность дѣтства отдѣльнаго лица, и теперь, когда мысль и сознаніе освободили насъ отъ старыхъ пеленокъ,—искусство должно совершенно стушеваться, уступая мѣсто другимъ, болѣе современнымъ, элементамъ общественной жизни? Но какъ въ такомъ случаѣ объяснить Пушкинское торжество и другія подобныя же событія: юбилей Жуковскаго и похороны Некрасова—у насъ, въ Россіи, юбилей Виктора Гюго—во Франціи, Шиллера—въ Германіи, и т. п.? Да и можетъ-ли поэзія, если она и на самомъ дѣлѣ жрица добра, истины и красоты, отжить свой вѣкъ, пока человѣческій идеалъ по-старому слагается изъ этихъ трехъ элементовъ?» По крайнему нашему разумѣнію—нѣтъ, и мы глубоко убѣждены, что, не смотря на всѣ зловѣщія предсказанія въ этомъ родѣ, ей суждено еще долго вызывать отзвукъ въ человѣческомъ сердцѣ, составляя источникъ одного изъ самыхъ высокихъ его наслажденій. Широко понимая слово «поэзія», мы не можемъ также согласиться и съ тѣмъ предположеніемъ, что настоящій историческій моментъ, переживаемый цивилизованнымъ міромъ, настолько остръ и важенъ въ его развитіи, что на время оттѣсняетъ интересы искусства на второй планъ. Въ развитіи человѣчества всѣ моменты одинаково важны, или кажутся таковыми для современниковъ,—это во-первыхъ;—а, во-вторыхъ, поэзія—если только она, по произволу поэта, не ограничена отжившей теоріей искусства для искусства,—сама является и однимъ изъ элементовъ этого

общаго развитія, и служительницей современныхъ ей интересовъ. Трудно также допустить, что въ наше время просто «неурожай» на поэтовъ въ *физіологическомъ*, если можно такъ выразиться, смыслѣ этого слова, т. е. неурожай на людей, обладающихъ той особенной чуткой и нервной организаціей, которая, въ соединеніи съ разными другими условіями, дѣлаетъ человѣка поэтомъ. Допустить это трудно потому, что жалобы на бѣдность раздаются въ нашей литературѣ чуть-ли не со временъ Пушкина, тогда какъ и послѣ него мы считаемъ у себя много талантливыхъ поэтовъ. Остается, такимъ образомъ, предполагать, что люди съ бо̀льшимъ или меньшимъ дарованіемъ и теперь встрѣчаются между нами, но дѣятельность ихъ или проходитъ незамѣченной, или они сами не достигаютъ кульминаціоннаго пункта своего развитія. Разъ установивъ этотъ фактъ, мы, не обинуясь, всецѣло обвиняемъ въ немъ современную поэтическую критику, и если она имѣла право упрекнуть наше время въ бѣдности поэтическими талантами, то поэзія, по нашему мнѣнію, имѣетъ вдвое бо̀льшее право упрекнуть ее въ бѣдности критическими дарованіями.

Задача критики можетъ быть разсматриваема съ двухъ точекъ зрѣнія,—по отношенію къ обществу, и по отношенію къ автору разбираемаго произведенія. По отношенію къ обществу, критикъ долженъ чутко уловить каждое, мало-мальски выдающееся, литературное явленіе, подчеркнуть читателю его до-

стоинство, указать на его недостатки, и такимъ образомъ сразу отвести ему соотвѣтствующее мѣсто въ литературѣ. Но этого мало: критикъ, если только онъ стоитъ на высотѣ своей задачи, формулируетъ каждый новый шагъ впередъ, каждый новый законъ, вырабатываемый прогрессомъ искусства. Онъ первый привѣтствуетъ все то въ литературѣ, чему можно предсказать будущность и развитіе, и, давая отчетъ о текущихъ произведеніяхъ искусства, въ то же время обогащаетъ и его теорію. Задача его по отношенію къ автору не менѣе серьезна: замѣчено, что люди истинно-талантливые всегда сомнѣваются въ своихъ силахъ. Сомнѣніе это доходитъ часто до полнаго отчаянія, совершенно препятствующаго творчеству; не даромъ Некрасовъ называлъ это чувство «пыткой творческаго духа» и не даромъ Лермонтовъ такъ скупо и такъ неохотно отдавалъ въ печать даже лучшія свои вещи. Геніальные актеры всѣхъ временъ, какъ свидѣтельствуютъ ихъ біографы, всегда глубоко волновались, прежде чѣмъ выйти изъ-за кулисъ передъ свѣтъ рампы. Въ области живописи наглядный примѣръ такой неувѣренности въ себѣ представляетъ знаменитый художникъ Ивановъ. Истинный талантъ только тогда увѣруетъ въ свое произведеніе, когда въ него увѣруютъ другіе,—увѣруетъ масса. Критику представляется тутъ благотворное поле дѣятельности: трезвымъ и безпристрастнымъ словомъ одобренія онъ можетъ совершенно поднять упавшій духъ, спокой-

ствіе котораго такъ необходимо для творчества. Замѣчено также, что обыкновенно авторы—самые плохіе судьи своихъ произведеній. Для нихъ нѣтъ ничего легче, какъ сбиться съ вѣрной дороги и безполезно растратить силы на чуждый ихъ таланту родъ дѣятельности. Здѣсь опять должна вмѣшаться критика; на ея обязанности лежитъ—указать автору слабыя и сильныя стороны его дарованія, давъ ему, такимъ образомъ, возможность совершенствоваться въ истинномъ направленіи. Таковы обязанности критики; такъ понималъ ихъ, по крайней мѣрѣ, лучшій изъ русскихъ критиковъ—Бѣлинскій. Формулируя эти законы, мы вовсе не имѣли претензіи открывать Америку; мы только хотѣли резюмировать ихъ читателю для того, чтобы яснѣе показать, насколько отклонилась отъ нихъ современная намъ поэтическая критика.

II.

Читатель, слѣдящій за текущей литературой, могъ бы замѣтить, что въ послѣдніе два три года поэтическая дѣятельноеть у насъ значительно оживилась. Не говоря уже о томъ, что рѣдкая книжка журнала выходитъ въ свѣтъ безъ двухъ-трехъ стихотвореній. за послѣднее время можно насчитать до пятнадцати вновь вышедшихъ полныхъ собраній стихотвореній, и, какъ намъ достовѣрно извѣстно, многія еще готовятся къ изданію. Можно-было бы ожидать,

что соотвѣтственно оживится и поэтическая критика; но на дѣлѣ оказалось иначе: одна только статья г. Арсеньева въ декабрьской книжкѣ «Вѣстника Европы», посвященная разбору стихотвореній г. Майкова, заслуживаетъ вниманія; все остальное написано по одному изъ двухъ, указанныхъ нами ранѣе, шаблоновъ. Зато и обрадовались-же этой статьѣ: всюду, и изъ среды пишущихъ, и изъ публики, мы слышали самыя горячія похвалы ей; видно было, что всѣ оцѣнили это вниманіе со стороны критика къ нелюбимому дитяти русской литературы—къ поэзіи.

Мы бы не очень горевали о небольшомъ количествѣ критическихъ отзывовъ, еслибы, по крайней мѣрѣ, содержаніе ихъ было достаточно вѣско; но, къ несчастію, наша критика и этимъ не можетъ похвастать. Примѣры на-лицо: вышелъ въ свѣтъ сборникъ г. Немировича-Данченко и вызвалъ сравнительно много рецензій, въ особенности въ газетахъ и въ такъ-называемой мелкой прессѣ. Общій тонъ этихъ рецензій былъ безусловно хвалебный; одинъ только г. Буренинъ счелъ нужнымъ сдѣлать небольшія оговорки. Въ публикѣ, такимъ образомъ, осталось представленіе о г. Немировичѣ-Данченко, какъ объ одномъ изъ наиболѣе талантливыхъ современныхъ поэтовъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ не болѣе, какъ талантливый версификаторъ, плѣняющій наборомъ звонкихъ и шаблонно-безсодержательныхъ фразъ. Отуманенный ими довѣрчивый читатель такъ и остается съ убѣжденіемъ, что стихотворенія г.

Немировича-Данченко не только «талантливы, содержательны и глубоки, но что на «днѣ» ихъ скрывается еще нѣкій крокодилъ, стѣсненный въ своихъ движеніяхъ только цензурными путами... Впрочемъ о произведеніяхъ этого поэта мы поговоримъ еще особо и обстоятельно. Теперь-же для насъ достаточно отмѣтить простой фактъ *пріятельскаго* отношенія «критики» къ такому «поэту», какъ г. Немировичъ-Данченко. Этотъ фактъ, признаться, наводитъ «на печальныя размышленія».

Какое-же, въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть эстетическое образованіе и развитіе общества, какую мѣрку таланта даетъ теперь критика въ руки довѣрчиваго читателя? А такихъ читателей, какъ оракула, слушающихъ свой журналъ или свою газету, масса на Руси. Толстые журналы поступаютъ нѣсколько добросовѣстнѣе: они не похвалятъ завѣдомо плохой вещи,—но они вдаются въ другого рода ошибку: они все и всѣхъ стараются подогнать подъ мѣрку своего направленія, иногда очень узкаго, и судятъ поэта именно съ этой точки зрѣнія. Вотъ почему несомнѣнно-художественныя стихотворенія графа Алексѣя Толстаго и г. Фета были совершенно затоптаны въ грязь критикой либеральныхъ журналовъ. Мы тоже мало сочувствуемъ тенденціямъ этихъ двухъ поэтовъ, но мы не можемъ не отдать имъ должнаго за чисто-художественную сторону ихъ произведеній. Пусть ихъ поэзія изъ трехъ элементовъ—истины, добра и красоты—служитъ только одной красотѣ—

спасибо и за это: «овому данъ талантъ, овому— два!»

Если, съ одной стороны, современная поэтическая критика ставитъ на пьедесталъ людей, не заслуживающихъ этого, и, смотря крайне односторонне, глумится надъ истиннымъ дарованіемъ,— съ другой—она способна совершенно проглядѣть, совершенно не замѣтить яркій и крупный художественный талантъ. Такая печальная исторія приключилась, между прочимъ, съ покойнымъ поэтомъ Симборскимъ. Кто изъ публики знаетъ его имя? А между тѣмъ онъ очень и очень заслуживалъ вниманія, въ особенности «въ наше бѣдное поэтическими талантами время». Мы намѣренно указываемъ на Симборскаго: человѣкъ этотъ уже сошелъ съ «жизненной сцены» года два тому назадъ. Но Симборскій не единственный примѣръ: критика проспала также и покойнаго Старостина. Любители поэзіи, впрочемъ, могутъ утѣшиться: на-дняхъ мы слышали, что одинъ русскій библіографъ предпринимаетъ изданіе роскошнаго сборника *всѣхъ* современныхъ поэтовъ, съ краткими образчиками ихъ произведеній, съ портретами и съ біографическими данными. Опытность составителя ручается за успѣхъ будущаго изданія.

Итакъ, по отношенію къ обществу, текущая критика поэтическихъ произведеній далеко не оказалась на высотѣ своей задачи. Это стало чувствоваться не только людьми пера, но даже и самой

публикой: нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, г. Буренинъ получилъ письмо отъ неизвѣстнго «друга поэзіи», въ которомъ этотъ послѣдній (хотя и не безъ нѣкоторой наивности) упрекаетъ г. Буренина въ небрежности по отношенію къ молодой русской поэзіи. Упрекъ, кажется, довольно серьезный для критики; но г. Буренинъ постарался сдѣлать, какъ говорятъ французы, bonne mine á mauvais jeu: онъ, вмѣсто всякаго отвѣта, написалъ балаганный разборъ шутовскихъ произведеній Алексиса Жасминова. Не пора-ли перестать отвѣчать на серьезный запросъ публики звономъ арлекинскаго бубенчика?

О новыхъ произведеніяхъ старыхъ поэтовъ еще говорится иногда «критикою» по два-три полуодобрительныхъ или полунасмѣшливыхъ слова, да и то, что называется, по обязанности. По отношенію-же къ молодымъ, начинающимъ силамъ критика за послѣдніе годы ровно ничего не сдѣлала, чтобъ ободрить ихъ къ дальнѣйшему развитію или остановить безталанныхъ, и если въ обществѣ уже сложились двѣ-три репутаціи поэтовъ послѣднихъ дней,—онѣ сложились не по иниціативѣ критики. Кромѣ злораднаго гоготанья и глумленья, кромѣ «шалопайскаго подлавливанія словечекъ съ усиленіемъ ихъ вопросительными и восклицательными знаками», —какъ мѣтко выразился г. Щедринъ,—молодая русская поэзія ничего не видала отъ русской критики.

III.

Что же касается Симборскаго, не имѣя, къ сожалѣнію, подъ руками необходимаго для того матеріала, да и лишенные возможности въ бѣглой замѣткѣ обрисовать, какъ бы то слѣдовало, литературную физіономію покойнаго поэта, мы ограничимся самой летучей характеристикой его таланта и приведемъ нѣсколько отрывковъ изъ его стихотвореній, чтобы обратить на нихъ вниманіе читателей. Симборскій писалъ довольно много. Въ юмористическихъ журналахъ и сборникахъ читатель часто можетъ встрѣтить его подпись В. Н. Сим—скій, но эти произведенія значительно ниже дѣйствительной силы его таланта. Намъ случилось быть въ Тифлисѣ незадолго передъ тѣмъ, какъ онъ застрѣлился, и мы всегда съ глубокимъ сожалѣніемъ встрѣчали въ мѣстныхъ газетахъ его стихотворные фельетоны. Правда, они въ своемъ родѣ были хороши, хороши до такой степени, что даже запоминались мѣстами наизусть; юморъ, иногда смѣлый до дерзости и высокій до пафоса, билъ въ нихъ ключемъ. Но что значили эти произведенія, имѣющія только временный и мѣстный интересъ, передъ тѣми, что-бы могъ дать Симборскій, какъ серьезный лирикъ и этикъ! А что онъ дѣйствительно могъ дать многое—это несомнѣнно. Намъ памятно одно его лирическое стихотвореніе, помѣщенное въ «Русскомъ Обозрѣніи», теперь давно не существующемъ, и озаглавленное: «Ожиданіе».

А вѣтра нѣтъ, какъ нѣтъ.... Повисли паруса,
Недвижный нашъ корабль стоитъ, какъ изваянье;
Раскинушись надъ нимъ, синѣютъ небеса
Въ бездушной красотѣ, въ торжественномъ сіяньѣ...
Расплавленнымъ стекломъ легла громада водъ,
Вся блескомъ залита,—но мертвая, нѣмая...
Сознанье тяжкое безсилія, какъ гнетъ,
Ложится на́ сердце, что страстно замирая,
Стремится съ мукою туда, гдѣ полоса
Родной земли, для глазъ чуть видная, темнѣетъ...
А вѣтра нѣтъ, какъ нѣтъ.... повисли паруса,
И тишь и блескъ кругомъ,—а въ сердцѣ злоба зрѣетъ!..

Да, это не балаганная вывѣска, разрисованная всѣми цвѣтами радуги развязной рукой г-на Немировича Данчено,-а широкая и яркая картина.

И тишь и блескъ кругомъ.... Галлюцинацій рядъ,
Терзая и дразня, проходитъ предъ глазами:
Вотъ волны рѣкъ родныхъ играютъ и гремятъ
И мчатся, сжатыя крутыми берегами.
Вонъ вкругъ убогихъ селъ убогія поля,
Облитыя слезой обильною и кровью...
И вся желанная, далекая земля,
Какъ будто тутъ, въ глазахъ... Съ привѣтомъ и любовью
Шумятъ по скатамъ горъ зеленые лѣса,
Манятъ, зовутъ къ себѣ... Рванулся-бъ къ нимъ скорѣе.
Но вѣтра нѣтъ, какъ нѣтъ! Повисли паруса,
И тишь и блескъ кругомъ,—и злоба все сильнѣе....

Со стономъ вырывается изъ груди слѣдующая за этой третья строфа:

Нѣтъ пытки тяжелѣй: стоять передъ врагомъ,
Съ нимъ рваться въ бой и знать, что тщетны всѣ усилья,
И въ бѣшенствѣ тупомъ, подстрѣленнымъ орломъ,
Безплодно поднимать израненныя крылья!
Близка стремленья цѣль. Въ мечтѣ ужъ подъ ногой

Шуршитъ, скрипитъ песокъ на пристани родимой,
И, тѣша жадный взоръ, открылся предъ тобой
Давно желанный видъ, знакомый и любимый,
Ужъ слышишь, чудятся родимыхъ голоса,
Ужъ видишь ихъ къ тебѣ протянутыя руки,
А вѣтра нѣтъ, какъ нѣтъ... Повисли паруса
И рвется сердце вонъ отъ скорби и отъ муки!..

Мы не выписываемъ послѣдней строфы, боясь, что наша замѣтка и такъ уже вышла черезчуръ длинной; но полагаемъ, что достаточно и трехъ приведенныхъ, что-бы видѣть, сколько силы, теплоты и художественности разлито въ стихотвореніи. Что-то жгучее, болѣзненное, горячечное слышится въ немъ, звучитъ какая-то глубоко симпатичная и человѣчная струна. А это стихотвореніе не единственное удачное изъ произведеній Симборскаго. Замѣчательно хорошъ также эпическій отрывокъ, помѣщенный въ томъ-же «Русскомъ Обозрѣніи» и озаглавленный— «Пиръ Звѣрей». Возьмемъ изъ него заключительный эпизодъ: поэтъ рисуетъ травлю звѣрями христіанскихъ мучениковъ.

.....Вотъ старикъ,
Уцѣлѣвъ, стоитъ суровый...
Звѣрь къ нему. Но въ этотъ мигъ
Съ крикомъ злобы рабъ высокій,
Молодой, исполненъ силъ,
Грудью выпуклой, широкой
Старика застановилъ...
Дерзкимъ жестомъ оскорбившись,
Звѣрь огромный далъ скачекъ...
Человѣкъ и звѣрь сцѣпившись,
Покатились на песокъ...

Лапой мощной рвется тѣло...
Брызги крови на стѣнахъ...
Слышно, что-то захрустѣло
На безжалостныхъ зубахъ...
Но гибка, подобно змѣю,
И могуча, и ловка, —
Колоссальной кошкѣ шею
Сжала крѣпкая рука...
Силой бѣшеною стиснутъ
Звѣрь хрипитъ, измученъ, слабъ...
На полвзмахѣ лапы виснутъ...
Все сильнѣе давитъ рабъ...
Роетъ землю коготь острый,
Пѣны бѣлая черта
Потекла по мордѣ пестрой
Изъ оскаленнаго рта...
Слабыхъ судорогъ мгновенье —
И кровавый, грозный глазъ
Въ смертной мукѣ и въ томленьѣ,
Закатившися, погасъ...
Грянулъ вопль. Восторгомъ дышетъ
Вся арена... Конченъ бой...
Крикъ помилованья слышетъ
Весь израненный герой...
О песокъ рукой измятой
Оперся онъ, привстаетъ...
Книзу массой синеватой
Тихо внутренность ползетъ...
А надъ нимъ въ свѣту, въ лазури,
День плыветъ, роскошный день...,
Ave Caesar! Morituri
Te salutant...

Сколько силы, сколько энергіи, истиннаго, вдохновеннаго пафоса!... Даже смѣлый реализмъ, который могъ бы покоробить чрезмѣрно брезгливаго читателя, здѣсь умѣстенъ и нуженъ. Укажемъ еще

на одну прекрасную вещь: «Ссора Владиміра съ Ильей Муромцемъ» и простимся съ читателемъ пожеланіемъ ему поближе и получше познакомиться съ талантомъ Симборскаго. Забвеніе и небрежность по отношенію къ талантливымъ людямъ—непростительная неблагодарность!..

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

Пѣсни жизни, стихотворенія *Омулевскаго* (И. В. Ѳедорова). С.-Петербургъ, 1883.

Въ послѣднее время замѣчается большое оживленіе въ нашей поэтической литературѣ: стихотворные сборники выходятъ почти непрерывно одинъ за другимъ. Значитъ-ли это, что въ обществѣ поднялся вкусъ къ поэзіи, или это явленіе просто случайное,—рѣшать не беремся, но фактъ на-лицо: въ сравнительно небольшое время вышли въ свѣтъ стихотворенія гг. Фета, Случевскаго, князя Цертелева, Пальмина, Якунина и, наконецъ, Омулевскаго, посыпавшіяся на читающую публику, словно падающія звѣзды въ августовскую ночь. Сборникъ г-на Омулевскаго является едва ли не наиболѣе симпатичнымъ изъ всѣхъ. Стихотворенія его составляютъ довольно объемистый томъ (500 стр.), снабженный эпиграфомъ: «Идите въ міръ и послужите міру». Одинъ ужъ этотъ эпиграфъ показываетъ, что г. Омулевскій не принадлежитъ къ школѣ, исповѣдующей принципъ искусства для искусства и до сихъ

поръ имѣющей у насъ своихъ представителей. При ближайшемъ знакомствѣ съ его произведеніями становится яснымъ, что онъ и не можетъ къ ней принадлежать: талантъ его не обладаетъ необходимыми для этого данными. Г. Омулевскій далеко не «художникъ»: онъ не даетъ въ своихъ произведеніяхъ ни законченныхъ, строго-выдержанныхъ типовъ, ни яркихъ образовъ и картинъ, ни баюкающей мелодіи, очень часто прикрывающей у нашихъ художниковъ нищету содержанія. Поэзіи, въ строгомъ смыслѣ этого слова, въ стихахъ г. Омулевскаго немного; но за то въ нихъ есть та теплота, правда и жизненность, которыя, какъ нѣкогда выразился Тургеневъ, говоря о стихахъ Добролюбова, не хуже поэзіи. Не чуждъ таланту г. Омулевскаго и юморъ—юморъ подъ-часъ горькій и напоминающій нѣсколько юморъ Некрасова и Сырокомли.

Сборникъ распадается на два отдѣла: первый заключаетъ въ себѣ произведенія оригинальныя, второй—переводныя.

Главный недостатокъ оригинальныхъ произведеній г. Омулевскаго заключается въ томъ, что въ нихъ оригинальнаго-то мало. И мотивы, и образы стихотвореній далеко не новы: тѣ же совѣты молодому поколѣнію бодро идти впередъ, тѣ же скорбныя думы вслухъ «у гроба почившаго труженика», горькія сѣтованія на жизнь, стремленія и призывы къ свободѣ, къ труду и знанію, сравненіе души поэта съ моремъ, таящимъ въ своей глубинѣ чудные перлы...

Но все это выражено тепло, задушевно, просто, безъ нестерпимаго наставническаго аппломба и эстетическихъ кривляній. Взглядъ на жизнь г. Омулевскаго—горькій, но не доходящій до безпросвѣтнаго, мертвящаго отчаянія. Тамъ, гдѣ-то далеко, за ночью горя и борьбы, ему видится, даже въ самыя тяжелыя минуты жизни—свѣтъ незакатнаго, грядущаго дня. «Еще далеко та страна», говоритъ онъ, обращаясь къ молодому поколѣнію,

«Гдѣ протекаютъ рѣки медомъ;
Не вдругъ познается она
Идущимъ издали народомъ;
Не вамъ дано въ ней отдохнуть,
Кончая подвигъ жизни бранной,
Но хорошо окончить путь
Въ виду земли обѣтованной!..

Эта теплая вѣра въ обѣтованный край даетъ поэту и силу, и отвагу для борьбы, даетъ ему энергію даже изъ-за тюремной двери восклицать: «да здравствуетъ свобода!»

«И слышалъ сторожъ мой какъ изъ-подъ свода
Я восклицалъ: «да здравствуетъ свобода»! (монологи, II).

Свободѣ и прославленію ея въ сборникѣ г. Омулевскаго вообще отведено почтѣнное мѣсто. Не дурны тамъ также пьесы, озаглавленныя авторомъ «Деревенскія пѣсни». Онѣ запечатлѣны чисто народнымъ юморомъ и мѣткостью.

Что-же касается до поэмъ г. Омулевскаго, то онѣ значительно ниже его лирическихъ пьесъ и по замыслу, и по выполненію.

Въ книжкѣ есть еще отдѣлъ стихотвореній, посвященныхъ поэтомъ его родинѣ, Сибири, но и они по большей части неудачны. Въ талантѣ г. Омулевскаго нѣтъ описательнаго элемента. Впрочемъ, нѣкоторыя изъ этихъ стихотвореній, лирическаго характера, выдаются своей простотой и прочувствованностью. Вотъ, напримѣръ, одно изъ такихъ стихотвореній:

Если ты странствуешь, путникъ,
Съ цѣлью благой и высокой,
То посѣти, между прочимъ,
Край мой далекой...
Тамъ, *сквозь* снѣга и морозы
Носятся мощные звуки;
Встрѣтишь людей тамъ, что̀ терпятъ
Муки за муки...
Нѣтъ тамъ пустыхъ истукановъ,
Вздохомъ изнѣженной груди...
Тамъ только люди да цѣпи,
Цѣпи да люди!..

Это теплое отношеніе поэта къ людямъ, «что̀ терпятъ муки за муки», является одной изъ наиболѣе симпатичныхъ сторонъ его дарованія. Есть недурныя вещицы и въ отдѣлѣ юмористическомъ, хотя въ немъ много и шаблоннаго. Какъ на лучшее, укажемъ на пьесы: «Передъ трупомъ» и «Случай».

Переводный отдѣлъ сборника представляетъ меньшій интересъ, чѣмъ оригинальный. За изъятіемъ двухъ-трехъ пьесъ изъ Виктора Гюго и Мицкевича, переводы всѣ—изъ Сырокомли. Въ большинствѣ случаевъ достоинствамъ подлинника приходится иску-

пать грѣхи перевода. Бойкій, веселый и легкій до виртуозности стихъ Сырокомли совершенно не дался г. Омулевскому: стихъ его перевода выходитъ или скученъ и прозаиченъ, какъ напримѣръ, въ поэмѣ «Стелла Форнарина», или отличается той дѣланной и натянутой веселостью и простотой, которыя хуже всякой напыщенности. Неужели, напримѣръ, это народная рѣчь:

Охъ, не сладокъ хлѣбъ солдатскій,
А какъ вспомнишь, на рѣсницы
Валятъ слезы по-дурацки,
Точно ложку съѣлъ горчицы.
Знамо, юность—или тоже
Какъ у васъ теперь, такая?
Сохрани, помилуй Боже!

Припоминая прекрасный переводъ того-же стихотворенія, сдѣланный покойнымъ Меемъ, станетъ ясно, насколько переводъ г. Омулевскаго слабѣе. Или что напримѣръ, знаменуетъ слѣдующій припѣвъ къ стихотворенію «Сладость мечтаній».

«Влѣзъ на грушку, рвалъ петрушку,
Ахъ, какъ вкусенъ лукъ!

Если это какой-нибудь полонизмъ, его слѣдовало пояснить. Лучше другихъ переведены пьесы: «Рыцарь на стражѣ», «Обывательская надгробная» и «Молчаніе поэта».

К. Случевскій. **Поэмы, хроники, стихотворенія. 3-я книжка. 1883.**

Имя г. Случевскаго, какъ поэта, далеко не ново въ нашей литературѣ и когда-то стояло подъ такими произведеніями, подъ которыми, вѣроятно, не отказались бы подписаться... гг. Майковъ и Полонскій. Въ первой книжкѣ его стихотвореній есть, напримѣръ, небольшая пьеса, «Статуя», написанная въ высшей степени красиво и виртуозно и грѣшащая развѣ только своей полной безсодержательностью. Но такихъ пьесъ очень немного у г. Случевскаго, и въ третьей книжкѣ, которая теперь лежитъ передъ нами, читатель не найдетъ ничего, хотя бы отдаленно напоминающаго его богатую обѣщаніями зарю. Г. Случевскій и въ отношеніи формы, и въ отношеніи содержанія регрессировалъ съ каждой написанной имъ строфой. Томикъ его стихотвореній— находка для юмористическихъ журналовъ, и намъ положительно непонятно, почему никто изъ критиковъ до сихъ поръ не обмолвился ни однимъ словомъ объ этихъ замѣчательныхъ жемчужинахъ родной поэзіи.

Книжка представляетъ большое разнообразіе содержанія, свидѣтельствующее о разносторонности таланта г. Случевскаго. Мы находимъ въ его томикѣ и поэму, и разсказъ, посвященный г. Данченко, и драматическія сцены, посвященныя г. Каразину, и драматическую хронику (совсѣмъ какъ у Шекспира), составленную по Тациту, и даже мистерію. Все это

по большей части вещи не новыя, фигурировавшія уже на страницахъ разныхъ изданій, для которыхъ и г. Случевскій поэтъ. Но наиболѣе любопытными вещами въ книжкѣ слѣдуетъ признать лирическія стихотворенія, названныя авторомъ «Изъ альбома одностороннего человѣка», и неподражаемую мистерію. Въ нихъ, какъ въ произведеніяхъ, завершающихъ книжку, по русской пословицѣ, «чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ», наиболѣе набросано поэтическихъ «дровъ», поэтому мы и посмотримъ на нихъ. Мы не обѣщаемъ читателю собрать въ одинъ букетъ всѣ перлы этихъ произведеній. Это трудно. Какъ вы думаете, напримѣръ, что́ такое убѣжденія? Это, видите-ли, «*слѣдъ долгихъ натруживаній, нѣкіи* (е) *мозоли мысли*», какъ весьма удовлетворительно объясняется на стр. 235. А какого вы мнѣнія о художественныхъ красотахъ слѣдующаго произведенія, которое мы, изъ боязни обронить изъ него что-нибудь, цѣликомъ переносимъ на наши страницы:

И они въ звукахъ пѣсни, *какъ рыбы въ водѣ,*
Плавали, плавали!
И тревожили ночь, благовонную ночь
Звуками, звуками!
Вызывала она *(ночь?)* на любовь, *на огонь*
Голосомъ, голосомъ.
И онъ *(голосъ?)* ей отвѣчалъ, будто вправду пылалъ,
Тенoромъ, тенoромъ!
А въ саду подъ окномъ, ухмылялась тайкомъ
Парочка, парочка!
Эти молоды были и пѣть не могли,
Счастливы, счастливы...

Безподобно! Какая наблюдательность, какая смѣлость образовъ, какая оригинальность формы! И это поэтъ, печатавшійся нѣкогда въ «Современникѣ», въ самую блестящую пору этого журнала! Прелестное это произведеніе помѣщается на стр. 236, непосредственно за «мозолями мыслей». Не безъинтересно также, какими соображеніями руководствуется авторъ въ разстановкѣ знаковъ препинанія. Такъ, напримѣръ:

У тебя, *на каретѣ* твоей
Мой, какъ-будто крещеный, еврей,
Весь обшитъ дорогимъ галуномъ,
Высоко возсѣдаетъ лакей!

Попробуемте передать это прозой, сообразуясь съ запятыми автора: «Высоко на твоей каретѣ, весь обшитый, какъ-будто крещеный еврей, дорогимъ галуномъ, возсѣдаетъ мой лакей!..» Направимся, однако, дальше:

Онъ сложилъ свои руки крестомъ
Крестъ!! (?).. великій, священный символъ,
Ну, нашелъ же ты мѣсто, нашелъ! (стр. 238)

и это—все стихотвореніе, отъ строки до строки! Изъ него читатель узнаетъ, что лакеи не всегда сидятъ на козлахъ, а иногда, хотя, вѣроятно, и очень рѣдко, взбираются и *на самую карету*. Изъ стихотворенія явствуетъ также, что крещеные евреи всѣ обшиты дорогими галунами. Направимся, однако, дальше.

Веселье нынче: гдѣ оно?
Вино смѣется въ насъ, вино! (стр. 239).

И тоже все стихотвореніе! Коротко и неясно. И такихъ ребусовъ много въ книгѣ!

Еще два-три образчика. Я-бы могъ привести ихъ гораздо больше, такъ-какъ выборъ не представляетъ большого труда; но, мнѣ кажется, довольно и этого. Кто и теперь не увѣруетъ въ поэтическія достоинства замѣтокъ «односторонняго человѣка», тотъ пусть платитъ 2 рубля, покупаетъ книгу г. Случевскаго и изслѣдуетъ самъ ея дебри.

Вся земля одно лицо! Отъ вѣка
По лицу тому съ злорадствомъ разлита
И *травитъ* (??) въ сознаньи человѣка
Мощной мысли злая кислота...
Арабески!! Каждый день обновки!
Что-то будетъ? Хуже-ли чѣмъ встарь?
Нѣтъ! такой, такой татуировки
Не одинъ не *сочинялъ* дикарь (стр. 244).

Что это такое, членораздѣльная-ли рѣчь человѣческая или безсвязный бредъ? Кто кого «травитъ?» Что значатъ патетическіе восклицательные знаки послѣ слова «арабески»? Стараться отыскать мысль среди этого набора словъ и массы вдохновенно-брошенныхъ на строки знаковъ препинанія совершенно безполезно: труды не увѣнчаются успѣхомъ. Читателю, огорошенному глубиной этого произведенія, какъ ударомъ обуха по головѣ, ничего больше не остается, какъ воскликнуть по адресу поэта: «Какой свѣтильникъ разума угасъ!» Еще одна маленькая «арабеска» изъ альбома и мы окунемся въ мутную воду мистеріи:

Мечты, твои любовницы
Летаютъ въ попыхахъ!
Онѣ, какъ ты — чиновницы,
Всѣ въ лентахъ и въ звѣздахъ! (стр. 246).

Немного словъ, а какая глубокая мысль, какъ много сказано!.. Интересно только, у какихъ зулусовъ бываютъ *чиновницы въ лентахъ и звѣздахъ?*

Почему г. Случевскій назвалъ эти стихи альбомомъ «*односторонняго*» человѣка? Въ чемъ «односторонность» этихъ жалкихъ, претенціозныхъ виршей? Никакихъ своихъ убѣжденій, этихъ «нѣкихъ мозолей», односторонній человѣкъ не высказываетъ; онъ просто бормочетъ разныя слова, Богъ вѣсть почему приходящія ему въ голову, стараясь, чтобъ они ложились въ риѳму. Всѣ эти вопросы, впрочемъ, предвидѣлъ, должно быть, и самъ авторъ, ибо въ одномъ изъ неподражаемыхъ стихотвореній «альбома» онъ прямо говоритъ недоумѣвающему читатѣлю: «Спроси у сумасшедшихъ, они меня поймутъ» (стр. 237).

А какъ роскошно издана книжка! Мы слышали, что ея художественный переплетъ былъ выбранъ и заказанъ въ Парижѣ. Невольно, на-ряду съ этимъ чистенькимъ, раззолоченнымъ томикомъ, вспоминается намъ внѣшность одного изданія задушевныхъ и милыхъ стихотвореній Сурикова: сѣрая обертка, сѣрая бумага... Довольно объемистая книжка стоила только рубль! Обидно становится за русскую поэзію: часто люди дѣйствительно талантливые не могутъ совсѣмъ издать своихъ произведеній или по недостатку средствъ,

или по «независящимъ обстоятельствамъ», а вирши г. Случевскаго выходятъ залитыя въ золото!

Заглянемъ теперь въ мистерію, носящую красивое и звучное заглавіе «Элоа»—имя ея героини, ангела женскаго пола, рожденнаго изъ слезы, уроненной, по преданію, Христомъ на гробъ Лазаря. Въ силу такой родословной, ангелу надлежитъ изображать въ мистеріи духа скорби и любви. Спѣшу предупредить читателя, что замыселъ г. Случевскаго крайне грандіозенъ: его Сатана является ни больше, ни меньше, какъ продолженіемъ лермонтовскаго «Демона», въ чемъ легко убѣдиться изъ нижеслѣдующихъ строкъ. «Прекрасный призракъ», говоритъ Сатана, обращаясь къ Элоа:

...полюби меня!
Какъ прикоснулся *я* къ красавицѣ *Тамарѣ*
И новымъ ангеломъ пространства населилъ,
Мнѣ *самки* двухъ міровъ не по сердцу бывали... (стр. 264).

Мистерія начинается тѣмъ, что у преддверья ада «толпы неясныхъ тѣней» тянутся къ *красному свѣту*. Слышится пѣсня:

Была коза и въ *дѣвушкахъ* осталась (?)
Изсохъ залогъ всѣхъ материнскихъ силъ!
Кой-кто рѣшилъ, рѣшенье исполнялось...

На-встрѣчу тѣнямъ появляется Сатана и очень кстати прерываетъ эту невозможную дичь вопросомъ: «Какое пѣнье? Отчего не на работѣ и не на своихъ мѣстахъ?» Отсюда явствуетъ, что тѣни—служебные духи Сатаны и что у нихъ есть какія-то свои мѣста. Читатель заинтересованъ.

Заступникомъ за несчастныхъ тѣней является Молохъ, играющій въ мистеріи роль наперсника Сатаны и надсмотрщика за его рабами. «Работы мало, князь»,—заявляетъ онъ, прибавляя, что какія-то *вожжи* совсѣмъ ослабли. Но Сатана не смягчается этими аргументами, грубо, совсѣмъ не по-княжески, гонитъ онъ тѣней въ «подлунную, сотворять зло», причемъ высказываетъ глубокое замѣчаніе, что ночь, «какъ большой парникъ, дающій овощи, возрощаетъ зло». Покорные духи исчезаютъ; Сатана остается въ пріятномъ tête-à-tête съ Молохомъ. Мы не беремся передавать читателю ихъ бесѣду: — она совершенно непонятна для простого смертнаго, не посвященнаго въ адскія тайны; впрочемъ, на наше счастіе, tête-à-tête продолжается недолго. Сатана за что-то разгнѣвывается на Молоха, удаляетъ его выразительнымъ мановеніемъ руки и остается одинъ. Не можемъ при этомъ случаѣ не позавидовать Молоху— ему не приходится выслушивать того, что̀ немедленно начинаетъ говорить Сатана:

Туманъ холодный тихо вьется, выползая
И безполезно (?) тратитъ влажность на скалахъ,
И въ странныхъ образахъ снуетъ между скалами...
Онъ тоже князя мрака признаетъ во мнѣ,
И льнетъ, и ластится! А я — какой я князь?
И Богъ и я — мы два враждебныхъ брата,
Предвѣчные зоны самой высшей силы
Намъ неизвѣстной, эманаціи ея...
Кряжи безсчетныхъ горъ лежатъ передо мною...
Но если-бы не ломка ихъ, не искривленья,
Не щели нѣдръ земныхъ, обвалы и *кипѣнья* (??)—

Въ нихъ не было бы этой грозной красоты,
Гдѣ такъ любовно, тихо, тѣни голубыя
Ложатся и закатъ малиновый горитъ...

Тутъ, благодаря Бога, почти все ясно, послѣднія двѣ строки даже красивы. Интересно только, какимъ образомъ все это относится къ началу монолога? Теперь мы приступаемъ къ самой интересной части монолога (держитесь, читатель!):

Мое, мое созданье эта красота,
Всегда присущая крушеніямъ порядка!
А красота—добро! Я этой *злобой добръ* (!)
А въ этомъ двойственность... И сю адъ и небо
Идутъ неудержимо оба къ разрушенью.
Лежитъ зерно: ему раздвоиться *судьба!*
Тогда изъ оболочки и изъ содержанья
Просунется ростокъ! Не то-же-ли и *здѣсь* (гдѣ?)
Зерно—мы оба и изъ насъ идетъ творенье!

Сатана *добръ злобой*, въ этомъ двойственность, и этой двойственностью «*и адъ и небо идутъ къ разрушенью*». Господи, помилуй насъ грѣшныхъ! Будемъ продолжать:

Несочетаемаго сочетать нельзя.

Это, по-крайней-мѣрѣ, ясно. Кузьма Прутковъ, глубокій, несравненный Кузьма Прутковъ, еще ранѣе говорилъ: «Плюнь въ глаза тому, кто скажетъ тебѣ, что можетъ объять необъятное!» Итакъ,

Несочетаемаго сочетать нельзя —
И въ этой-то борьбѣ двухъ основныхъ различій
Играетъ жизнь и смерть! Броженіе дрожжей...
. . . . . .
И самъ я сбился и совсѣмъ не отличаю
Что Божье, что мое?

Самъ Сатана сбился! Посмотримъ, не яснѣе ли дальше?

Не можетъ зло пройти: присуще бытію; (?)
Но въ чистотѣ своей зло сильно помутилось
Густой отстой добра спускается въ него.
А зло, *какъ тьма трясины*, что пускаетъ *кверху* (?)
Листву широкую могучихъ плауновъ,
На стебляхъ безконечно длинныхъ — проникаетъ
Въ добро — и кажется, и дѣйствуетъ добромъ...

«Сатана задумывается». Читатель тоже. Есть отъ чего задуматься, даже потерять голову: «мозоли мыслей»... «ночь — большой парникъ»... «отстой добра»... «зло—тьма трясины»... «зло—листва могучихъ плауновъ, *кажущихся* и *дѣйствующихъ добромъ*». Связи съ предъидущимъ читатель ужъ не ищетъ,—до связи-ли тутъ! Но, однако, Сатана очнулся. Вниманіе!

Какъ это было?..
Да, припоминаю я...
Не совершились времена тогда (??)... Природа
Была готова, только мысли лишена!
Мысль оставалась прирожденнымъ достояньемъ
Однихъ духовныхъ сферъ, и въ нихъ витали мы!
Когда же рядомъ опытовъ, слѣпыхъ исканій
Отъ сочетанья къ сочетанью, *на ощупь*,
Съ отбрасываньемъ формъ ненужныхъ, неудачныхъ,
Мысль наконецъ таки пробилась на землѣ
И *глянулъ* (?) человѣкъ! то *связка развязалась*
Срощенья двухъ міровъ въ живомъ общеньи жилъ (??)

Эта «развязавшаяся связка *срощенья двухъ міровъ въ живомъ общеньи жилъ*», по нашему мнѣнію, безсмертна! Какъ ни привыкли мы встрѣчать подобные

перлы у г. Случевскаго, но этого «общенья жилъ» мы не ожидали! Что передъ этой фразой знаменитая пѣсня: «рано утромъ, вечеркомъ, въ полночь, на разсвѣтѣ»!

Сатана продолжаетъ еще и дальше болтать подобный же вздоръ; но съ насъ довольно и этого. Такимъ образомъ написана вся мистерія: между отдѣльными сценами никакой связи; въ сценахъ—никакого смысла.

Стихотворенія графа А. А. Голенищева-Кутузова. Спб. 1884 г.

Талантъ графа А. А. Голенищева-Кутузова въ послѣднее время обращаетъ на себя все большее и большее вниманіе и критики, и читателей, принадлежащихъ къ тому литературному лагерю, къ которому примкнулъ поэтъ. По правдѣ сказать, мы еще не видимъ въ этомъ явленіи особенной чести для графа Кутузова: среди болѣе или менѣе бездарныхъ дебютантовъ, фигурировавшихъ въ качествѣ трубадуровъ на страницахъ «Русскаго Вѣстника», и въ обществѣ гг. Фета и Случевскаго, изъ которыхъ каждый, въ послѣдніе годы, успѣлъ дописаться до геркулесовскихъ столповъ безсмыслицы, всякій, кто мало-мальски владѣетъ языкомъ и имѣетъ хоть крупицу таланта, покажется «Бѣлымъ голубемъ въ стаѣ черныхъ грачей». Графъ Голенищевъ-Кутузовъ несомнѣнно владѣетъ языкомъ и обладаетъ нѣкото-

рымъ дарованіемъ; что же удивительнаго, если въ глазахъ его почитателей онъ, человѣкъ обыкновенной величины, принимаетъ размѣры «Брокенскаго видѣнія»? На безлюдьѣ и Ѳома—дворянинъ!..

Странное впечатлѣніе производитъ на безпристрастнаго читателя его сборникъ: въ книгѣ очень много стихотвореній, съ заманчивыми заглавіями и совсѣмъ безъ заглавій, съ риѳмами и безъ риѳмъ, съ тенденціей и безъ тенденціи; есть тутъ и лирика, и эпосъ; масса красивыхъ стиховъ, звонкихъ фразъ, пестрыхъ картинокъ, и нѣтъ главнаго—содержанія. Во что вѣритъ поэтъ, какому Богу молится, какой путь считаетъ въ жизни истиннымъ — для читателя это остается неразгаданной тайной, такъ какъ тамъ, гдѣ поэтъ выражаетъ свое міросозерцаніе, онъ донельзя туманенъ, а изъ стихотворныхъ конфектокъ, написанныхъ исключительно для звонкой формы, конечно, немного извлечешь. Раскуситъ читатель одну такую конфекту, раскуситъ другую,—а послѣ третьей ему такое угощеніе покажется уже и приторнымъ. Что, напримѣръ, хотѣлъ сказать авторъ этой бездѣлкой:

Темной ночью буря выла,
Но твой сонъ былъ тихъ и ясенъ;
И мечта мнѣ говорила:
Жизнь свѣтла и міръ прекрасенъ.
Темной ночью буря выла,
Но во снѣ ты улыбалась—
И легко на сердцѣ было,
И невольно пѣснь слагалась...

Что это такое? На что это нужно, кому нужно? «Выла—было, улыбалась—слагалась»—кромѣ звуковъ, мы ничего тутъ не видимъ. А изъ такихъ безцѣльныхъ пустячковъ состоитъ добрая половина лирическихъ стихотвореній сборника.

Кромѣ такихъ лирическихъ пустячковъ въ сборникѣ есть нѣсколько посланій. Намъ кажется страннымъ желаніе автора воскресить эту выводящуюся литературную форму. Какое дѣло читателю до личныхъ отношеній поэта къ близкимъ ему людямъ, хотя бы это были и общественные дѣятели? Извѣстная вещь, что въ такого рода отношеніяхъ человѣкъ всегда будетъ пристрастнымъ. Графъ Голенищевъ-Кутузовъ доказалъ это своимъ посланіемъ къ Майкову, написаннымъ по поводу присужденія послѣднему Пушкинской преміи за драму «Два міра». Поэтъ говоритъ:

Когда, поэзіи служитель *одинокій* (!...)
Въ нашъ вѣкъ неправедный, бездушный и жестокій,
Глашатай истины, добра и красоты,
Свое творенье въ даръ принесъ отчизнѣ ты,
Глаголу вѣщему внимая чуткимъ слухомъ,
Я поднялъ голову, я ободрился духомъ,
Я *возгордился* (!) тѣмъ, что на Руси у насъ,
Средь смуты и вражды, безумья и разврата,
Средь торжествующей хулы на Духа Свята, (?)
Путеводительный свѣтильникъ не угасъ...

И дальше:

Тотъ свѣточъ *въ оны дни* держалъ иной пѣвецъ,
И *нынѣ* на тебѣ его *почістъ* сила:
Тѣнь Пушкина тебя усыновила
И на *главу* твою сложила свой вѣнецъ.

Это, по нашему мнѣнію, немножко смѣло. Пушкинъ врядъ-ли повиненъ въ присужденіи Академіей г-ну Майкову пятисотъ рублей. Если поэтъ правъ, Пушкину пришлось бы отвѣчать и за такъ-называемый Пушкинскій кружокъ, а Ломоносовъ оказался бы виноватымъ въ забаллотированіи г. Менделѣева. Да и со стороны формы стихотвореніе неудовлетворительно: въ глазахъ читателя такъ и пестритъ отъ разныхъ допотопныхъ словъ: глашатай, пріять, глаголъ, въ оны дни, нынѣ, почіетъ, глава, хула и проч., и проч.

Еще менѣе удовлетворительны тѣ пьесы сборника, въ которыхъ графъ Голенищевъ-Кутузовъ пытается выразить частицу своего міросозерцанія и что-либо доказать читателю. Стихотворенія этого рода отличаются чисто дѣтской сбивчивостью и нелогичностью. Такъ напримѣръ, въ одномъ изъ такихъ произведеній поэтъ силится доказать, что «*свобода—обманъ*, и *что влеченье къ ней людскихъ сердецъ совершенно напрасно*». «То *лести* (?) звукъ пустой» — говоритъ онъ:

То праздныхъ словъ игра, то призракъ лишь свободы!
Обманутые имъ волнуются народы,
Метутся вкругъ него съ надеждой и тоской,
И что-же? Каждый разъ, когда тотъ призракъ ложный,
Цѣль яростной борьбы, дается въ руки имъ,
«Обманъ и суета»!—вновь шепчетъ духъ тревожный
И устремляетъ вновь ихъ къ призракамъ инымъ!
Бѣгутъ—и нѣтъ конца погонѣ той мятежной!
Проходятъ смутные дни, годы и вѣка,
Разсвѣта не видать, стремленье безнадежно,

Заманчивая цѣль все такъ же далека!
И сердце отрицать ее уже готово...
Къ ней путь давно заглохъ и терніемъ поросъ:
Божественной любви давно забыто слово:
«Свобода—въ истинѣ, а истина—Христосъ».

Съ перваго взгляда—очень глубоко, но вглядимся пристальнѣе: кажется, что удивительнаго, что съ развитіемъ человѣчества развивается и понятіе о свободѣ! Вчера человѣкъ считалъ себя свободнымъ, если его не хваталъ первый встрѣчный за шиворотъ—сегодня онъ требуетъ, чтобы ему позволили мыслить и говорить, а завтра, можетъ быть, потребуетъ еще чего-нибудь. Неужели же изъ того, что понятіе о свободѣ становится шире и человѣческое сознаніе прогрессируетъ, слѣдуетъ, что свобода—«обманъ»? Въ такомъ случаѣ и всѣ научные выводы—обманъ, потому что и наука не стоитъ на одномъ мѣстѣ! И какъ хитро закончено стихотвореніе: въ началѣ идетъ рѣчь о свободѣ политической, а цитата относится къ свободѣ нравственной, моральной! И стихотвореніе это написано тою-же рукой, которою написаны и слѣдующія строки:

Для битвы честной и суровой
Съ неправдой, злобою и тьмой
Мнѣ Богъ далъ мысль, мнѣ Богъ далъ слово,
Свой мощный стягъ, свой мечъ святой!
. . . . . .
. . . . . .
Да, наложить *на разумъ цѣпи*
И слово можетъ *умертвить*
Лишь Тотъ, Кто властенъ вихрямъ въ степи
И грому въ небѣ запретить!...

Это-ли еще не требованіе той самой свободы, которая десять страницъ назадъ, тремя энергическими: «нѣтъ!», признается за призракъ и обманъ!... Какъ, слѣдовательно, сбивчивы убѣжденія автора, если онъ этого не замѣтилъ!

Не обошлось, конечно, въ сборникѣ безъ стихотвореній, отдающихъ специфическимъ, славянофильскимъ запахомъ. Одно изъ такихъ стихотвореній, озаглавленное «Самому себѣ», заключаетъ лирическій отдѣлъ сборника. Мы не станемъ говорить подробно о пьесахъ этого рода: онѣ представляютъ изъ себя старую погудку на новый ладъ, перепѣвы того, что двадцать разъ уже было пѣто другими поэтами, вкусившими отъ плода славянофильства: предреканія родинѣ небывалаго могущества и славы, обѣты смиренья, сѣтованья о томъ, что мы порвали связь съ прошлымъ нашей отчизны и нашего народа — кому это не извѣстно, кому это не успѣло надоѣсть? Надо сказать правду—неразнообразны и не богаты мотивы славянофильской поэзіи.

Второй отдѣлъ сборника состоитъ изъ произведеній эпическихъ: здѣсь помѣщенъ драматическій отрывокъ «Смерть Святополка» и нѣсколько небольшихъ поэмъ. «Смерть Святополка» — положительно слабая, мелодраматическая вещь: ни характеровъ, ни психологическаго анализа, одни только «жалкія слова», трескучіе монологи, да разсчитанные на эффектъ ужасы. Поэмы можно прочесть съ удовольствіемъ, конечно, если нѣтъ подъ рукой чего-нибудь